

Клайв Стейплз Льюис

Размышления о псалмах

Остину и Катарине Фаррер

I. ВВЕДЕНИЕ

Это не ученый труд. Я не гебраист, не экзегет, не археолог, не историк Древнего мира. Я пишу для неученых о том, о чем и сам не много знаю. Если мне надо просить за это прощения, я прошу его примерно так: очень часто два школьника могут помочь друг другу лучше, чем учитель. Сообща они ему о своих затруднениях, он, как все мы помним, будет объяснять то, что они и без него знают, и то, чего они знать не хотят, но ни слова не скажет им в ответ. Я видел это с обеих сторон — я ведь учитель и сам пытался отвечать ученикам, но быстро замечал по их лицам, что и я, как мои учителя, потерпел поражение. Соученик поможет лучше, потому что он знает меньше. Он сам недавно думал о том же, что и его друг. Учитель думал об этом так давно, что все позабыл. Теперь он видит предмет совсем по-иному и просто понять не может, в чем затруднение. Видит он и десятки других затруднений, ученику неведомых.

И вот я пишу как любитель любителю. Я расскажу о трудностях, вставших передо мной, и о моих догадках, надеясь, что это поможет неопытным читателям псалмов или хотя бы тронет их. Я не учу, я просто показываю тетрадь. Кто-то сказал мне, что псалмы для меня — вешалки, на которые я развесил собственные мысли. Не вижу, какой от этого вред; и если кто-нибудь так прочитает книгу, я не огорчусь. Но писал я ее не так. Все мысли, какие тут есть, вызваны чтением псалмов. Я думал о том, что вы прочитаете, и радовался тем или иным строкам или встречал строки, которым радоваться не мог.

Разные поэты слагали псалмы и в разное время. Насколько мне известно, некоторые псалмы разрешено относить ко временам Давида, а псалом 17 (который мы встречаем в немного ином виде, читая 2-ю книгу Царств, глава 22) сложен самим царем. Но есть и псалмы, сложенные после плена (который сейчас бы назвали «депортацией в Вавилон»). В ученом труде пришлось бы уточнить хронологию; в такой книге, как эта, я не должен и не вправе о ней говорить.

Зато я должен сказать, что псалмы — это стихи, причем такие, которые пели вслух. Не трактаты, даже не проповеди, а стихи. Те, кто предлагает читать Писание «ради его литературных достоинств», хотят, вероятно, чтобы не обращали никакого внимания на его суть, сердцевину, центр. Мне кажется, это бессмысленно. Однако их совет можно толковать иначе: Писание — это книга, и потому, читая его, мы поневоле входим в область словесности. В нем есть разные жанры. Псалмы — это лирика со всеми ее условностями, гиперболами, внелогическими сочетаниями слов. Если об этом не помнить, псалмов не поймешь; увидишь в них то, чего в них нет, и проглядишь главное.

Очень важную особенность их формы можно сохранить в переводе. Это — так называемые параллелизмы: одно и то же сказано дважды, по-разному: «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им» (2:4); «И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень» (36:6). Если читатель не видит, что это — прием, он станет думать, в чем же разница, и в конце концов ее выдумает (так делали в старину многие проповедники), или просто устанет, или удивится.

На самом же деле этот прием воплощает суть искусства. Кто-то сказал, что искусство — это «то же самое, но иначе». Танцуя народный танец, вы делаете три прыжка вправо и три таких же прыжка влево. Если в здании есть левое крыло, в нем есть и правое. В музыке можно сказать ABC, потом abc, потом альфа/бета/гамма. «Параллелизм» — характерная для древних евреев разновидность «того же самого, но иначе»; однако встречается он и в Англии. Очень хороший пример — в детской рождественской песенке: «Иосиф — старик, он старый человек».

Конечно, прием этот не всегда выступает в таком простом виде. Иногда его заметишь не сразу, как прикровенную симметрию хорошей картины. Но сейчас мне важен сам факт, само наличие такого приема. Какая удача, нет — какой дар Промысла, что у стихов, которые должны были прозвучать на всех языках, сохраняется в переводе главная особенность формы!

Если вы хоть немного чувствуете стихи, эта особенность вас обрадует. Если же не чувствуете, то ощутите к ней почтение: она радовала Христа, Он любил ее и употреблял. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7:2). «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7). Можете считать, что цель тут — практическая, учительная: Господь облакает Свои речения в такую ритмическую, почти напевную форму, что их просто невозможно забыть. Но я думаю, что это не все. Когда Тот, Кто замыслил Себе и нам на радость прекрасный, как стихи, мир, умалился до человеческой речи, речь эта неизбежно стала подобной стихам. Ведь поэзия — малое Воплощение, она дает плоть невидимому и неслышимому доселе.

И еще, я думаю, нам не повредит, если мы вспомним, что, вочеловечившись, Иисус принял благое бремя наследственности и детских впечатлений. Он перенял эту поэтическую форму хотя бы от Своей Матери. Смотрите: «...призрел Он на смирение рабы Своей... сотворил Мне величие Сильный... явил силу мышцы Своей; рассеял надменных... низложил сильных с престолов» (Лк. 1:48-52). Прием этот применен здесь тоньше, чем в псалмах, но он есть. (Скажу, наконец: только ли в этом Он был похож на Нее? Не кажется ли вам, что в трогательном Magnificat есть и суровая сила Деворы, которой не найдешь в наших нежных Мадоннах? Я думаю часто, что жизнь Святого Семейства была, конечно, и мирной, и кроткой, но не совсем в том смысле, какой придают этим словам авторы церковных гимнов. Не было ли в ней и напряженной печали, и резкой деревенской прямоты, неприятно поражавшей иерусалимских горожан?)

Даже на своем, любительском уровне я не собираюсь «охватить предмет». Я буду говорить только о том, что задело меня самого. Об исторических псалмах я ничего не скажу — и потому, что они меньше для меня значили, и потому, что они, наверное, вызывают меньше вопросов. Начну же я с того, что больше всего отталкивает современного читателя Псалтири. Наше поколение приучено получать все готовеньким, как дети; добрые, старинные няни давали сперва то, что есть труднее, а сладкое — в самом конце.

Всякому читателю станет ясно, что это — не так называемая «апология». В этой книге я не убеждаю неверующих в истинности нашей веры. Я обращаюсь к верующим или хотя бы к тем, кто открыл Псалтирь, чтобы подкрепить свою зарождающуюся веру. Нельзя непрестанно защищать истину, надо и насладиться ею.

И последнее: я старался, как мог, избежать конфессиональных распрей. В одном месте мне пришлось объяснить, в чем я не согласен и с католиками, и с протестантами; надеюсь, читатель не подумает, что я «вообще против» тех или других. Еще я надеюсь, что ни тех ни других не обидел; но здесь, собственно говоря, бояться нечего. Опыт показал мне, что обижаются и оскорбляются не сильно верующие люди и даже не атеисты, а те, кто верит как бы наполовину. Вот их не умиришь никакими оговорками, не обезоружишь кротостью. Но я ведь, наверное, гораздо неприятней, чем мне самому кажется. (Быть может, в чистилище мы увидим свои лица и услышим свой голос?)

II. СУД

Христианин трепещет при мысли о Божием суде. День суда для нас — день гнева. Мы молим Бога помиловать нас в час смерти и в день суда, мы просим о добром ответе на «страшном судилище Христовом». Христианское искусство столетиями изображало его ужасы, и мотив этот восходит к словам Самого Спасителя, особенно — к страшной притче об овцах и козлах. Ничья совесть не останется к ней глухой, ибо грехи «козлов» не в том, что они делали, а в том, чего не сделали; кто не ужаснется, когда ему твердо говорят, что самое

тяжкое обвинение против каждого из нас основано на вещах, которые, быть может, нам и в голову не приходили!

Поэтому я очень удивился, заметив впервые, как говорят псалмопевцы о Божием суде. Говорят они так: «Да веселятся и радуются племена! Ибо Ты судишь народы праведно» (66:5). «Да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все деревья дубравные пред лицом Господа; ибо идет, ибо идет судить землю» (95:12-13). Люди радуются суду, просят о нем: «Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой» (34:24).

Скоро я начал понимать, в чем тут дело. Ветхозаветные люди, как и мы, представляли Господень суд в образе земного суда. Но мы, христиане, видим на скамье подсудимых себя самих, иудеи же видели там своих обидчиков, а себя считали истцами. Мы надеемся на оправдание, то есть хотим, чтобы суд был помястивее; им нужно, чтобы суд судил строго. В притче об овцах и козлах Христос говорит «по-нашему», но есть и тексты, предполагающие иудейский образ суда. Вдумайтесь в притчу о судье неправедном. Мы представляем себе кого-то вроде члена немецких трибуналов — человека, кричащего на свидетелей и осуждающего невинных, к которому мы надеемся никогда не попасть. Но судья из притчи — совсем другой. Вы не предстанете перед ним, если не хотите, трудность совсем иная — трудно к нему попасть. Богатый и сильный сосед забрал у вдовы крохотный участок (Лк. 18:1-5), где только и поставишь насест или сарай (сейчас «соперником» стали бы городские власти, планирующие новый район). Она знает, что это — беззаконие. Если ей удастся подать жалобу, она выиграет дело. Но никто не желает ее слушать. Удивительно ли, что она хочет суда?

Мы это плохо себе представляем, потому что иначе живем, но так жили много веков во всем мире. Почти всегда и везде «маленькому человеку» было очень трудно подать иск. Надо было подкупить судью и еще человек двух, преграждавших к нему путь. Наши судьи не берут взятки (мы слишком привыкли к этому и не радуемся, а зря — само собой это не продержится), поэтому не нам удивляться, что псалмопевцы и пророки непрестанно просят суда и весть о нем для них — благая весть. Еще бы! Ведь только тогда добьется правды неисчислимое множество несправедливо обиженных людей. Конечно, они суда не боятся. Они знают, что дело их — правое. Но кто их выслушает, пока не придет Бог?

Это будет еще яснее, когда мы прочитаем соответствующие места в псалмах. В псалме 9 говорится, что Бог «будет судить вселенную по правде» (9), ибо Он «не забывает вопль угнетенных» (13). Он — судья вдов (67:6), то есть не осуждает их, а защищает. Добрый царь псалма 71 «судит праведно людей Твоих (т.е. Божьих) и нищих Твоих на суде»; Он «судит нищих народа», «спасет сынов убогого и смирит притеснителя» (2,4). В псалме 75 «восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли» (10) — всех забитых, беспомощных бедняков, не дождавшихся правого суда от человеческих судей. Когда Господь обвиняет этих судей в 81 псалме, Он говорит: «Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего» (3-4).

Таким образом, праведный судья прежде всего выправляет несправедливость, восстанавливает правду в гражданском деле. Конечно, он рассудит и дело уголовное, но не о том думают псалмопевцы. Христиане просят Бога о милости и страшатся Его правды. Иудеи просили о правде, страшились же неправды (конечно, человеческой). Господь-Судия — это защитник. Ученые говорили мне, что судьи из Книги Судей, собственно, защитники, они вершили иногда суд, но больше и чаще защищали, выручали израильтян, спасали и от филистимлян, и от других врагов. Для нас, англичан, они ближе к Джеку — Грозе великанов, чем к судье в белом парике. Похожи на них и рыцари средневековых романов, и наши поверенные, бесплатно ведущие дела бедных людей.

Несомненно, христианское представление о суде и глубже, и душеполезнее иудейского. Но это не значит, что мы должны просто забыть иудейское, отбросить. Я, во всяком случае, могу извлечь из него немалую пользу.

Дело в том, что оно уточняет христианское представление. Нас, христиан, тревожит, если не пугает, совершенная чистота Того, с Кем Бог сравнит наши действия. Но мы знаем,

что никто до этого не дотягивает, все грешны, и остается уповать на милость Божию и Христово искупление. Иудейское же представление резко и ясно напоминает нам о том, что мы грешны, быть может, не только по сравнению с «Божьим стандартом», но и по сравнению с вполне выполнимым и общепринятым стандартом человеческим, который мы сами применяем, когда судим других. Почти наверняка мы кого-нибудь обидели, кому-то не помогли, от кого-то отвернулись. Кто посмеет сказать самому себе, что ни с начальством, ни с подчиненным, ни с детьми, ни с родителями, ни с мужем или с женой не погрешил против справедливости, не говоря уж о милосердии? Конечно, мы забываем нанесенные нами обиды. Но те, кого мы обидели, не забывают их и не прощают. Не забывает и Бог. Даже то, что мы помним, — ужасно. Мало кто из нас давал ученикам, детям, подчиненным — словом, тем, над кем мы возвышены, — все, чего мы хотели бы в таком же случае для себя.

Наши ссоры очень хорошо показывают, чем отличаются друг от друга христианское и иудейское представления о суде. Как христиане мы должны каяться в раздражительности и себялюбии, без которых конфликтов не было бы. Но есть и другая проблема, на другом, более низком уровне: конфликт возник; честно ли я сражался? Быть может, я делал вид, что оскорблен, — ведь я так раним, так тонок, — когда на самом деле меня терзали зависть, досада, самолюбие, любоначалие? Быть может, я делал вид, что негодую, а злился совсем на другое и мотив мой был гораздо низменнее? Такая тактика нередко приводит к победе — противник уступает, и не потому, что поверил: он просто знает, что, копни он поглубже, скажи нам правду, не прими нашей игры, и мы с ним начисто рассоримся. Он знает, что нужна операция, а мы ее не вынесем. И мы побеждаем; но побежденный тяжело ранен нашей нечестностью. Так называемая чувствительность — очень мощное оружие, иногда на ней одной держится домашняя тиранья. Не знаю, как нам быть, когда ею прикрываются другие, но в себе мы должны убивать ее в зародыше.

Может показаться, что непрерывный протест против тех, кто притесняет «бедных», почти не относится к нашему обществу. Вероятно, так кажется лишь на первый взгляд; вероятно, разница только в том, кого понимать под «бедными». Иногда с нас требуют намного больше налогов, чем надо бы. Если это случится с деловым человеком, умеющим постоять за себя, особой беды не будет — он объяснится, потратит время, и все. Но если несправедливый мытарь пытается обмануть вдову, которая и так еле сводит концы с концами на свои «нетрудовые доходы», заработанные тяжким трудом и почти съеденные инфляцией, дело хуже. Ее никто не защитит, она ничего не понимает, она боится, она заплатит и станет совсем уж голодать и холодать. Мытарь же именно «обижает бедных» — правда, не ради своей наживы, а ради карьеры, чтобы угодить хозяевам. Какая-то разница тут есть. Насколько важна она для Того, Кто защищает беззащитных, я не знаю, а чиновник узнает в час своей смерти. (Что, если я не прав? Что, если наши чиновники, как истинные спортсмены, соблюдают правила игры и не бьют лежачих? Тогда прошу у них прощения, обвинить их я не вправе; а все же — могу предупредить. Зло быстро входит в привычку.)

Вероятно, вы заметили, что я как-то приспособливаю к нам ветхозаветную концепцию, воображая себя не истцом, а ответчиком. Псалмопевцы так не делали. Они хотели суда, потому что считали себя, именно себя, несправедливо обиженными. Правда, и в псалмах есть строки, где автор приближается к христианскому смирению и мудро отказывается от самооправдания. В 49 псалме (вообще одном из лучших) обвинитель — Бог (7-23), а в 142:2 мы читаем такие знакомые слова: «...не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих». Но это — исключения. Почти всегда псалмопевец — негодующий истец.

По-видимому, он уверен, что его-то руки чисты. Он никогда не причинял другим тех страшных обид, которые причиняют ему. «Господи, Боже мой! если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, — я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом: то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах» (7:4-6). Но я ведь ничего такого не делал! Враги не мстят мне за зло, они «воздают мне злом за добро», а я

поступаю с ними, как требует милосердие (34:12-14).

Конечно, здесь таится опасность. Именно здесь проходит путь к тому ветхозаветному самодовольству, которое так яростно обличал Спаситель. Скоро мы об этом поговорим, но сперва я замечу: считать себя правым — одно, считать себя праведным — другое. Никто из нас не праведен, и потому второе мнение всегда ошибочно. Однако многие из нас, а может быть, и все, бывают в чем-нибудь правы. Более того, плохой человек может быть прав, хороший — не прав. Вопрос о том, Чарли или Томми принадлежит карандаш, никак не связан с вопросом о том, кто из мальчиков лучше, и не дай Бог родителям впасть в эту ошибку. (Еще хуже, если они скажут Томми, чтобы он был добрым мальчиком и отдал Чарли карандаш, хотя Чарли и не прав. Может быть, оно и вправду лучше, но правда эта — не ко времени. Вынужденная милость хуже суровой справедливости. Томми запомнит на всю жизнь, что милость и доброта — ханжеская уловка, выгодная вору и любимчикам.) Мы нив коей мере не должны думать, что псалмопевцы заблуждаются или просто лгут. В определенное время, в определенном деле они действительно правы. Быть может, нам неприятен их голос, он недостаточно мягок — но несправедливо обиженные люди редко бывают мягкими.

И все же прискорбное смешение «правых» и «праведных» не миновало их. В псалме 7 мы видим самый переход. Вначале псалмопевец прав, а в стихе 9 он уже праведен: «Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне». Бывает смешение и похуже: жажда суда нерасторжимо переплетается с жаждой мести. Об этом мы поговорим отдельно. Псалмы, где речь идет о собственной праведности, мы разберем через несколько глав; псалмы, где речь идет о мщении, — сейчас, в следующей главе. Именно из-за них священники боятся приучать людей к Псалтири. Но должна же и от них быть польза христианам, если мы верим (а я верю), что Писание боговдохновенно! (Я скажу позже, почти в конце, как я это понимаю.)

III. ПРОКЛЯТИЯ

Когда мы читаем некоторые псалмы, ненависть пышет в лицо, словно жар из печи. Иногда эта ненависть не пугает, но лишь потому, что смешна современному разуму.

Примеры ненависти пугающей можно найти во многих местах, но самый ужасный, наверное, в псалме 108. Автор просит Бога, чтобы тот поставил нечестивого над его врагом, а «диавол да станет одесную его» (6). По-видимому, смысл здесь не совсем такой, какой привидится читателю-христианину. «Диавол» — это обвинитель, быть может — доносчик. «Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех» (7). Тут, мне кажется, речь идет не о молитве к Богу, а о мольбе, обращенной к человеку, к судье. «Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его — вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих... Да не будет сострадающего ему; да не будет милующего сирот его» (108:8-10,12). Еще ужасней один стих из прекрасного псалма — о вавилонских младенцах (136:9). И поистине бесовская, утонченная злоба в 68:23: «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их — западнею».

Примеры, вызывающие улыбку, если не смех, особенно режут слух в любимых псалмах. Так, в псалме 142 после одиннадцати стихов, над которыми чуть не плачешь, вдруг приписка (ах ты, чуть не забыл!): «И по милости Твоей истреби врагов моих». Еще простодушней совсем уж детский возглас: «О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого!» (138:19) — словно автор удивляется, как это Всемогущему не пришло в голову такое простое средство против зла. Самый чудовищный пример — в одном из лучших псалмов, 22; после зланных пажитей, тихих вод, твердой помощи «посреди сени смертных» мы натываемся на такие слова: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих», то есть — я пирую, а они смотрят! Поэт не может, по-видимому, радоваться Божьим дарам, если эти гнусные враги

не увидят их и не изойдут завистью и злобой. Вероятно, здесь меньше бесовского, чем в том стихе, который я цитировал раньше, но мелочность и пошлость такого чувства вынести невозможно.

Конечно, мы можем просто не обратить внимания, отбросить эти стихи. Но, как ни жаль, они не вычлениаются, они переплетены с поистине дивными строками. Если же мы все еще верим, что Писание — священо или хотя бы что христиане, читая веками псалмы, не действовали прямо против Божьей воли; если мы помним, что Сам Господь непрестанно черпал из псалмов и образы и слова, — мы попытаемся извлечь пользу из этих стихов. Какую же?

Сейчас я буду говорить не о всей пользе, а о части ее — другую часть вы найдете в главах об иносказаниях. Кроме того, в этой главе речь пойдет лишь о пользе, до которой постепенно, очень медленно додумался я сам.

Поначалу я твердо верил (верю и теперь), что нельзя думать так: если такие фразы есть в Библии, значит, мстительность и злоба каким-то образом и благочестивы, и хороши. Однако нельзя и сделать вид, что ненависти тут нет вообще. Она есть — неприкрытая, гложащая, злорадная; но мы согрешим, если станем оправдывать эту страсть в ком бы то ни было, а хуже всего — в себе. Все дальнейшие рассуждения возможны только в том случае, если вы примете эти предпосылки.

Как всегда, мне прежде всего помог как бы и внерелигиозный опыт. Я вдруг узнал эти чувства. Все мы их знаем. Это — досада, выраженная так свободно, бесстыдно, непристойно, как в наши дни ее выражают только дети. Конечно, я не подумал, что древние израильтяне жили без ограничений и условностей. Восточные и древние культуры во многом условней, ритуальней, вежливее нашей. Но подавляли они не то, что подавляем мы. Они не скрывали злобы ради приличия и не боялись, что их назовут неврастениками. Поэтому мы и видим здесь злобу, как она есть.

Казалось бы, после этого я должен был обратить взор в собственное сердце. Действительно, весьма душеполезно делать такой вывод из «злых псалмов». Правда, мы и в самой страшной обиде не мечтаем о таких отмщениях. Жизнь наша спокойней (вернее, в некоторых странах она пока еще спокойней). Псалмопевцы жили среди ужаснейших казней, насилия, кровавых закланий, иногда — человеческих жертв. Кроме того, повторяю, мы лучше скрываем наши чувства даже от самих себя. «Что же, — говорим мы, — он еще пожалеет...», и нам кажется, что мы просто предсказываем, ничуть при этом не злорадствуя. Однако, читая о том, как псалмопевец лелеет свою обиду, узнать себя мы можем. Что ни говори, этот озлобленный, дикий, жалеющий себя человек очень близок нам.

Да, душеполезно об этом подумать. Но я подумал о другом. Я увидел, что бывает, когда обидишь человека. Вот он, естественный результат жестокости. Слово «естественный» я пишу с умыслом: благодать может смыть его, разум — подавить, самообольщение — скрыть от нас (это хуже всего). Но суть не в том. Если бросить спичку в опилки, они вспыхнут, хотя огонь можно сразу залить водой или затоптать. Так и здесь — если вы грубы с человеком, или высокомерны, или пренебрежительны, он обидится. Вы введете его в искушение — он станет из-за вас таким, каким был автор псалмов, когда писал те стихи. Может он и подавить искушение, но ведь может и не подавить. Если не подавит, если погибнет от ненависти ко мне, как же спасусь я сам? Я не только обидел его, я ввел в его сердце новый грех. Если этот грех его разрушит, это я соблазнил его, я — искушитель.

Незачем толковать о том, что прощать легко. Все мы помним старую шутку: «Бросил курить? Это что! Я сто раз бросал». Прощать трудно. Мы сотни раз вынуждены прощать одно и то же. Мы прощаем, умерщвляем досаду — а она оживает как ни в чем не бывало. До седмижды семидесяти надо прощать не 490 обид, но одну-единственную. А я ввел в чье-то сердце лишнюю обиду! У меня прекрасные к тому возможности, мне очень легко унижить человека. Если вы не преподаватель, не старшая медсестра, не судья, благодарите за это Бога.

Встречая в псалмах проклятия, нельзя просто ужасаться. Да, проклятия ужасны. Но подумаем не о том, как злобен псалмопевец, а о том, что его до этого довело. Именно такую

злобу, согласно естественному закону, рожают жестокость и несправедливость. Отнимите у человека имущество, честь или свободу, и вы отнимете у него чистоту, а может — из-за вас он перестанет быть человеком. Не все жертвы кончают с собой; многие живут, и живут они злобой.

Тут мне пришла в голову другая мысль и повела меня совсем не туда, куда я думал. Псалмопевец реагирует на оскорбление естественно, но неверно. Казалось бы, можно сказать, что он — не христианин и лучшего не знает. Однако объяснение это поверхностно, и по двум причинам.

Первая причина. Судя по Писанию, иудеи «лучшее» знали. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоём... Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя», — говорит им Господь в Книге Левит (19:17-18). А в Исходе: «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, — приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его: развьючь вместе с ним» (23:4-5). «Не радуйся, когда упадет враг твой, — читали они в Книге Притчей Соломоновых, — и да не веселится сердце твое, когда он споткнется» (24:17). Никогда не забуду, как я был поражен, когда открыл, что слова апостола Павла — прямая цитата из той же книги: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его» (25:21). Это — одна из наград тем, кто часто читает Ветхий Завет. Все больше и больше видишь, как много цитат из него — в Завете Новом, как непрестанно наш Господь повторяет, продолжает, усиливает иудейскую этику, как редко Он вводит новое. Пока Библию читали многие, это прекрасно знали миллионы неученых христиан. Теперь об этом забыли, и людям кажется, что они чем-то умалят Христа, если докажут, что в дохристианском тексте есть что-нибудь «предвосхищающее» Его слова. Неужели они думают, что Он фокусник, вроде Ницше, выдумавший «новую этику»? Любой хороший учитель — и в иудаизме, и в язычестве — предвосхищал Его. Все, что было лучшего в религиозной истории мира, предвосхищало Его. Иначе и не может быть. Свет, просвещавший людей от начала, может разгореться, но не измениться.

Вторая причина сложнее и удивительней. Если псалмопевцы так злятся потому, что они не христиане, резонно подумать, что у язычников мы найдем такую же или худшую злобу. Быть может, знай я лучше языческую словесность, я бы и нашел. Но в том, что я знаю, — у нескольких римлян, у считанных скандинавов — ничего подобного нет. Там есть похоть, там много грубой бесчувственности, там принимают как должное холодную жестокость, но нет яростной, или, если хотите, упоенной, ненависти. Конечно, я говорю об авторской речи, у разгневанных персонажей она бывает. Поначалу кажется, что древние евреи были мстительней и злее язычников.

Не будь мы христианами, мы бы махнули рукой, подивившись, с чего это Бог выбрал такой неприятный народ. Но мы не можем, мы знаем, что долг наш Израилю непомерно, неоплатимо велик.

Когда встречаешь трудность, надейся на открытие. Эта трудность стоит того, чтобы над ней подумать.

По-видимому, в мире нравственном есть правило: чем выше, тем опасней. «Обычный человек», потихоньку изменяющий жене, иногда плутующий, не нарушая законов, несомненно «ниже», чем тот, кто служит идее, подчиняя ей желания, выгоду и даже самую жизнь. Но именно из этих, «высших», выходят страшные, бесовские люди — инквизиторы, члены Комитета Общественного Спасения. Безжалостным фанатиком становится не обыватель, а потенциальный святой. Тот, кто готов умереть за идею, готов за нее убивать. Чем больше ставка, тем больше искушение. Однако это не значит, что правы и праведны мелкие, плотские, суетные люди. Они не выше искушения, а ниже.

Неспособность к гневу прекрасна, но она бывает и очень плохим симптомом. Я понял это, когда в начале войны ехал вместе с молодыми солдатами. Судя по их разговору, они абсолютно не верили в газетные сообщения о немецких зверствах. Они и не сомневались, что

это выдумки, пропаганда, призванная «расшевелить» войска. Но они не возмущались. Им казалось совершенно нормальным, что какие-то люди приписывают врагу чудовищные преступления просто для того, чтобы получше натравить на него своих подчиненных. Их даже не особенно это трогало, они не видели здесь ничего дурного. И я подумал, что самый яростный псалмопевец ближе к спасению, чем они. Если бы они ужаснулись сатанинской подлости, в которой заподозрили наших правителей, а потом бы этих правителей пожалели и простили, они были бы святыми. Но они не ужаснулись, они вообще тут подлости не видели, они считали, что так и следует, — и это знак страшной бесчувственности. Ясно, что у них не было и отдаленного представления о добре и зле.

Итак, неспособность к гневу, особенно к тому гневу, который зовут негодованием, может быть тревожным симптомом, а негодование — хорошим. Даже если оно переходит в горькую жалость к себе, оно может быть неплохим симптомом. Это грех, но он показывает хотя бы, что человек не опустился ниже уровня, на котором такое искушение возможно. Евреи проклинали жесточе, чем язычники, потому что серьезней относились к злу. Посмотрите, они негодуют не только из-за себя, но и потому, что обижать вообще плохо, неуютно Богу. Всегда, хотя бы на заднем плане, есть это чувство, а иногда оно переходит и на передний: «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение... И скажет человек: „подлинно... есть Бог, судящий на земле!“» (57:11-12). Это непохоже на гнев без негодования — на животную злобу человека, которому враг сделал то же самое, что он сделал бы врагу, будь он посильней и попроворней.

Непохоже, лучше, выше — но и к греху ведет худшему. Ведь именно оно, негодование, дает нам возможность освящать худшую из наших страстей. Именно оно позволяет нам прибавить «так сказал Господь» к нашим мнениям и чувствам (наверное, именно это и значит «произносить имя Господа напрасно»). Но и здесь верен закон «чем выше, тем опасней». Иудеи грешили против Бога больше, чем язычники, именно потому, что были к Нему ближе. Когда сверхъестественное входит в человеческую душу, оно дает ей новые возможности и добра и зла. Отсюда идут две дороги: к святости, любви, смирению — и к нетерпимости, гордыне, самодовольству. Одной дороги нет — назад, к пошлым грешкам и добродетелям неразбуженной души. Если Божий зов не сделает нас лучше, он сделает нас намного хуже. Из всех плохих людей хуже всего — плохие религиозные люди. Из всех тварей хуже всего — тот, кто видел Бога лицом к лицу. Выхода нет. Приходится принять эту цену.

Даже в самых страшных из проклятий мы видим, как псалмопевцы близки к Богу. Более того, мы слышим Божий голос, чудовищно искаженный плохим инструментом, человеком. Нет, Бог не смотрит так на Своих врагов, Он «не хочет смерти грешника»; Бог не смотрит так на грешника; Он неумолим, как псалмопевец, — но не к грешнику, а ко греху. Он не потерпит его, не попустит, не войдет с ним в сговор. Он вырвет глаз, отрубит руку, если иначе Ему не спасти Свое создание. В этом ярость псалмопевца гораздо ближе к одной стороне истины, чем многие нынешние взгляды, которые тем, кто их исповедует, кажутся христианским милосердием. Она лучше, чем псевдонаучная терпимость, сводящая жестокость к неврозу (хотя бывает, конечно, и порожденная болезнью жестокость). Она лучше, чем доброта женщины-судьи, которая — я сам это слышал — уговаривала вполне сознательных начинающих бандитов «бросить глупости». Когда после этого читаешь псалмы, вспоминаешь, что на свете есть нравственное зло и Бог его ненавидит. Вот почему я сказал, что голос Его звучит в тех строках, как бы ни искажал его инструмент.

Можем ли мы не только учиться у этих страшных строк, но и извлечь из них пользу? Мне кажется, можем; но об этом я поговорю в другой главе.

IV. СМЕРТЬ

Я решил сперва говорить о неприятном, и мне бы надо перейти к самодовольству, которое можно обнаружить в некоторых псалмах. Но мы не разберемся в нем, если не поговорим сначала о других вещах. И я поговорю о другом.

По-видимому, наши деды читали псалмы и весь Ветхий Завет так, словно авторы его прекрасно знали новозаветное богословие, только Воплощение было для них не прошлым, а предрекаемым будущим. В частности, деды не сомневались, что псалмопевцы верили в вечную жизнь, страшились гибели и стремились к спасению. Надо сказать, тексты тому способствуют. Когда мы читаем: «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек» (48:8-9), как не подумать, что речь идет об искупительной жертве Христа? Но древнееврейский поэт имел в виду другое, гораздо более простое: что смерти не избежать, здешней, земной смерти.

Я так и слышу, как читатель восклицает: «Ох уж эти ученые! Нет, не дам им портить Библию. Пусть сначала ответят мне на два вопроса: 1) Неужели простые случайности (плохой перевод, порча рукописей и что там у вас еще бывает) так удачно привели к полному совпадению с новозаветным языком? 2) Хотите ли вы, чтобы мы вообще забыли, отбросили привычные толкования?» Я отвечу на оба вопроса позже, Пока же скажу, что отбрасывать привычное толкование не надо, и вернусь к тому, что считаю фактами.

Мне кажется очевидным, что в Ветхом Завете очень мало говорится о вере в будущую жизнь и совсем нет такой веры в бессмертие, которая имела бы мало-мальски религиозное значение. Слово, переводимое как «душа» в наших псалмах, значит просто «жизнь»; слово, переводимое как «ад» или «преисподняя», — просто страна мертвых, шеол, где пребывают все умершие — и добрые, и злые.

Трудно представить себе, как древний иудей мыслил шеол. Он не любил об этом думать. Религия не поощряла таких размышлений. Он верил, что очень опасные люди, вроде аэндорской волшебницы, вызывают оттуда умерших, но те ничего не говорили о шеоле; их и спрашивали не о нем, а о наших, земных делах. Если же он попускал себе такие мысли, он мог впасть в язычество, есть «жертвы бездушным» (105:28).

За всем этим нетрудно различить представления, свойственные многим древним народам. Современные люди лучше всего знают греческий аид. Это не рай и не ад, это почти ничто. Я говорю о народном веровании — у философов бывали более четкие и живые представления, и поэты могли выдумать что-нибудь поярче; но описания эти относились к народной вере примерно так, как научная фантастика к астрономии. По народной же вере тут и разговаривать было не о чем. Аид — страна теней, мир ничтожеств в прямом смысле слова. Гомер считает духов лишенными разума, и это, наверное, довольно близко к народному представлению. Они бессмысленно лопочут, пока живой человек не даст им выпить жертвенной крови. Как представляли себе это греки, мы видим по «Илиаде», где говорится, что души убитых идут в аид, а сама они становятся добычей псам и хищным птицам. Сам человек — это тело, пусть мертвое; душа его — что-то вроде отзвука или отражения. И страшная мысль смущает меня: а может, так оно и есть? Может, естественный удел неискупленного человека разложение души, подобное разложению тела, и он становится лишенным разума «душевым осадком»? Если это так, слова Гомера о жертвенной крови — исключительное, небывалое провидение.

Представления эти, столь туманные у язычников, еще туманней у евреев. Шеол еще неопределенней, еще отдаленней, чем аид. Он беспредельно далек от сердцевины веры, особенно — в псалмах. Псалмопевцы говорят о нем примерно так же, как говорит о смерти теист — тот, для кого мертвые мертвы, и все.

Нередко это видно даже в переводе. Особенно поразителен вопль: «Вспомни, какой мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?» (88:48). Следовательно, «совершенная суета всякий человек живущий» (38:6). «...И мудрые умирают, равно как и невежды» (48:11); «будет ли прах славить Тебя?» (29:10), «ибо в смерти нет памятования о Тебе» (6:6). Смерть — это земля забвения (87:13); «в тот день исчезают все помышления его» (145:4). Каждый человек «пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света» (48:20).

Иногда кажется, что псалмопевец просит о «спасении души» в христианском смысле. Это не так. «Ты вывел из ада душу мою» (29:4) значит: «Ты спас меня от смерти». «Объяли

меня болезни смертные, муки адские постигли меня» (114:3) — примерно то, что мы называли бы «я был при смерти» (не исключено, что речь идет о глубоком отчаянии). Из Нового Завета видно, что к тому времени иудаизм сильно изменился в этом отношении. Саддукеи придерживались прежних взглядов, но фарисеи и, видимо, кто-то еще верили в будущую жизнь. Сейчас мы не станем говорить о том, как эти изменения происходили. Нам важно другое: сильное религиозное чувство существовало и без такой веры. Многим покажется странным, что Бог, открывший евреям так много, этого им не открыл.

Теперь мне это странным не кажется. Начнем с того, что рядом с евреями жил народ, занятый чуть ли не одной только будущей жизнью. Когда читаешь о древнем Египте, невольно думаешь, что египтяне пеклись прежде всего о своем посмертном благополучии. Господь, по-видимому, не пожелал, чтобы Его народ шел по этому пути. Почему же? Разве можно слишком сильно заботиться о своей вечной участи? Как ни странно, можно.

Сами по себе «блаженство» и «муки» за гробом — вообще не предмет религии. Тот, кто в них верит, будет, скорее всего, избегать мук и стремиться к блаженству. Но религиозного в этом не больше, чем в накоплении денег или в заботах о здоровье. Разница только в том, что ставка выше, тем самым неизмеримо больше и надежда и страх. Но и надежды эти, и страхи — о себе, не о Боге; Бога ищут ради чего-то другого. Они могут существовать и без веры в Бога. Буддисты очень заботятся о посмертной судьбе, а в Бога не верят.

Может быть, Господь хотел показать людям, что истинная их цель — Он Сам и только Он. Тогда, конечно, нельзя открывать им сразу истины о спасении и гибели. Если люди слишком рано в них поверят, они не научатся — как бы это сказать поточнее? — алкать Бога. Позже, когда столетия духовной выучки их этому научат, дело другое. Тот, кто любит Бога, хочет не только быть с Ним, но быть с Ним вечно и боится Его потерять. Именно поэтому верующий человек надеется на рай и боится ада. Когда же «рай» понимают не как единение с Богом, «ад» — не как отвержение от Него, вера в будущую жизнь — злое суеверие. На одном его конце — пошлый хэппи-энд, на другом — кошмар, от которого люди сходили с ума или преследовали ближних.

Но Бог наш милостив: почти невозможно всерьез исповедовать эту эгоистическую веру, которая ниже уровня религии. Точнее, исповедовать ее может только невротик. Большинство людей обнаруживает, что вера в посмертное блаженство крепка тогда, когда цель их — Бог. Что же до ада, в старину проповедники всячески старались запугать паству его ужасами и удивлялись, как же это люди живут потом вполне беспечно. Удивляться тут нечему. Проповедники взывали к страху за себя, к заботе о себе, а вера этого уровня не может постоянно определять жизнь — она встряхивает на считанные часы, не больше.

Конечно, все это — мои домыслы; но они окуплены опытом. В другой книге я рассказывал, что целый год верил в Бога и старался Его слушаться, не веря в будущую жизнь. Этот год и сейчас кажется мне очень важным. Наверное, поэтому я так ценю те долгие столетия, когда в будущую жизнь не верил богоизбранный народ.

У народа этого, как и у нас, было много уровней религиозной жизни, и на некоторых из них роль играла какая-то корысть. Место «веры в рай», которая означает лишь «страх перед адом», занимала надежда на земные блага. Они друг друга стоят — и в плохом, и в хорошем смысле. Та надежда выше и чище, чем наша тяга к благополучию. Человек меньше думал тогда о себе, почти не отделял себя от соплеменников и от потомков. Благословение «семени» он воспринимал как благословение ему самому. Не всегда можно понять, «кто такой» псалмопевец — отдельный человек или весь народ. Наверное, он часто и не думал об этом.

Но мы ошибемся, если решим, что иудаизм сводился к земным надеждам. Не это в нем особенно, не это отличает его от других древних религий. Как удивительны пути, по которым Господь ведет Своих! Век за веком Он наносил евреям удары, которые кажутся немилосердными. Поражение, плен, оккупация вбивали им в голову, что вера в Бога не гарантирует преуспевания. Такой опыт разрушил бы веру, стоящую на земной надежде. Многие отпали. Удивительно не это: вера выстояла. В лучших своих сынах она становилась все чище, глубже, сильнее. Все больше и больше обращалась она к истинному своему центру,

о чем я и расскажу в следующей главе.

V. КРАСОТА ГОСПОДНЯ

Пришла пора поговорить о вещах более веселых. Если во «веселый» кажется вам неуместным, значит, вы особенно нуждаетесь в том, что псалмы могут дать больше любой другой книги. Мы знаем, что Давид плясал перед ковчегом. Плясал он так самозабвенно, что одна из его жен (которая была современной, но не лучше его) решила, что он ставит себя в смешное положение. Давид об этом не думал. Он радовался Господу. Тут мы вспомним, что иудаизм был одной из древних религий. Это значит, что «внешностью» своей он больше походил на язычество, чем на ту скованность, ту осторожность, ту почтительную приглушенность, которая связана у нас со словом «религиозный». В одном смысле это отделяет его от нас. Мы бы не смогли присутствовать при древних обрядах. Все храмы на свете, от прекрасного Парфенона до святого храма Соломонова, были священными бойнями (даже иудеи не могут к этому вернуться, они не строят храма и не возобновляют всесожжения). Но и тут все не так просто: в храмах пахло кровью, пахло и жареным мясом. В них было не только страшно, в них было уютно и празднично.

В детстве я думал, что Иерусалимский храм был как бы кафедральным собором, а синагоги — приходскими церквями. Это не так. То, что происходило в синагогах, было совсем не похоже на происходившее в храме. Там собирались, учили, толковали Закон, обращались к народу (см.: Лк. 4:20; Деян. 13:15). В храме совершали жертвоприношения; именно в нем служили Ягве. Наши церкви — наследницы и храма и синагог: проповедь восходит к синагоге, таинства — к храму. Иудаизм без храма искалечен, неполон; христианским же храмом может стать сарай, палата, комната, поле.

Я больше всего люблю в псалмах именно то, из-за чего плясал Давид. «Это» не так чисто и не так глубоко, как любовь к Богу, которой достигли великие мистики и святые новозаветных времен. Я их не сравниваю, я сравниваю радость Давида и прилежное «хождение в церковь». При таком сравнении она удивляет и непосредственностью, и силой. Читая, мы завидуем ей и надеемся ею заразиться.

Радость эта была сосредоточена в храме. Иногда поэт различает ту любовь к Богу, которую мы, как это ни опасно, назвали бы «духовной», и любовь к храмовым праздникам. Это надо понять правильно. В отличие от греков, иудеи не были склонны к анализу и логике (собственно, из древних народов только греки отличались этой склонностью). В отличие от нас, они не могли бы разделить тех, кто поклоняется в храме Богу, и тех, кто наслаждается «прекрасной службой», музыкой, красотой. Ближе всего мы подойдем к их восприятию, если представим себе благочестивого крестьянина, который пришел в церковь на Рождество. Я имею в виду благочестивого, то есть не того, кто, никогда не причащаясь, только на Рождество и ходит, — то язычник, отдающий дань Неведомому по большим годовым праздникам. Мой крестьянин — христианин. Но он не сможет отделить свои религиозные переживания от той радости, которую дали ему встреча со множеством знакомых, прекрасная музыка, воспоминания о таких же службах в детстве и ожидание праздничного обеда. Все это едино в его душе. Вот это, только еще сильнее, чувствовали древние, особенно — иудеи. Они были крестьянами. Они никогда не слышали о празднестве, о музыке, о земледелии отдельно от религии или о религии, отделенной от них. Конечно, это грозило им определенными опасностями, но и давало преимущества, которых у нас нет.

Например, когда псалмопевец говорит, что видел Господа, это нередко означает, что он побывал в храме. Мы сильно ошибемся, если скажем: «А, он просто видел празднество!» Лучше сказать: «Если бы мы там были, мы увидели бы празднество». В псалме 67 мы читаем: «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами» (25-26). Если бы там был я, я бы увидел музыкантов и девушек с тимпанами, а отдельно, «в другом плане», я

бы «ощутил» (или не ощутил) присутствие Божие. Древний человек такого разделения не ведал. Точно так же, если бы нынешний человек захотел «пребывать... в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню» (26:4), то это были бы разные желания; у псалмопевца же, как я подозреваю, это повторение, параллелизм.

Когда они стали способнее и к абстракции, и к анализу, такое единство распалось. Тогда, и только тогда, обряд мог стать заменой Богу или даже соперником. Когда мы воспринимаем его отдельно, он может отделиться и зажечь своей, злокачественной жизнью. Маленький ребенок не отличает религиозного смысла Пасхи или Рождества от их праздничного обличья. Один очень маленький мальчик сочинил песню, которая начиналась так: «Яйца покрасили, Христос воскрес». На мой взгляд, он проявил и благочестие, и поэтическое чутье. Но мальчик побольше такого не придумает. Он отделит одно от другого и, раз уж отделил, вынужден будет поставить что-то на первое место. Если он поставит «духовное», яйца смогут и впредь вызывать в нем пасхальные чувства. Если же поставит «праздничное», оно очень скоро станет просто праздничным столом. В какой-то период иудаизма, а может быть — только у отдельных иудеев, произошло нечто похожее. Обряды стали отличаться от встречи с Богом. Но это, к сожалению, не значит, что роль их уменьшилась — она могла и увеличиться. Обряд мог стать сделкой с алчным богом, которому на что-то нужны груды остонов, и он без них милости не окажет. Хуже того, можно считать, что Богу вообще только обряд и нужен и потому надо тщательно его выполнять, не обращая внимания на Его призывы к суду, милости и вере. Для жрецов обряды станут важны тем, что это — их хлеб, их дело, с которым связано и общественное и экономическое их положение. Они будут совершенствоваться в этом деле. Конечно, в самом иудаизме есть противовес. Такое отношение к обряду неустанно обличают пророки, и даже в Псалтири — в сборнике храмовых песен — есть псалом 49, в котором Господь говорит, что храмовые службы не цель, и высмеивает языческие представления о Его любви к жареному мясу: «Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе». Я представляю иногда, как Он говорит некоторым нашим священникам: «Если бы Я захотел послушать музыку или вникнуть в тонкости западного обряда, то, честное слово, обошелся бы и без тебя». Опасности эти так известны, что нет нужды долго о них говорить. Я хочу обратить ваше внимание на иное — на ту радость, которой нам (во всяком случае, мне) не хватает. Радость о Боге очень сильна в псалмах и связана — теснее ли, нет ли — с храмом, сердцем иудаизма. Псалмопевцам по сравнению с нами было почти не за что любить Бога. Они не знали, что Он предлагает им вечное блаженство; не знали, что Он умрет, чтобы это блаженство для них отвоевать. Но они так любят Его, так к Нему тянутся, как любят Его и тянутся к Нему только лучшие из христиан или, быть может, только христиане в лучшие свои минуты. Их тяга к «красоте Господней» сильна, как физическая жажда. Без Него их души иссыхают, как земля без воды (см. Пс. 69). Они говорят о Боге: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее... Наполяешь борозды ее... размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастения ее» (64:10-11). Душа их томится, как птичка без гнезда (83:3-4), и «один день во дворах Твоих лучше тысячи» (83:11).

Я назвал бы это именно жаждой или алканьем, а не «любовью». Слова «любовь к Богу» сразу вызывают в памяти слово «духовная» со всеми теми значениями, которыми оно, к несчастью, обросло. В древних стихотворцах было меньше важности и меньше смирения (я бы даже сказал — меньше удивления), чем в нас. Чувство, о котором я толкую, было веселым и простым, как естественное, даже физическое желание. Они радуются и торжествуют (9:3). Они славят Бога на гуслях (42:4), на псалтири и гуслях (56:9), они «радостно поют Богу» и берут для этого тимпан, «сладкозвучные гусли с псалтирью» (80:2-3). Но музыки им мало, им нужен шум. Им надо, чтобы всплескивали руками все народы (48:2), чтобы кимвалы были звучными и громогласными (150:5), чтобы веселились многочисленные острова (96:1) — места чужие и всегда далекие для иудеев, не знавших мореплавания.

Я не предлагаю вам возродить эту буйную жажду. Во-первых, ее возродить и невозможно, потому что она не умирала; только искать ее надо не у нас, англикан, а у

католиков, православных, Армии Спасения. Мы слишком привержены хорошему вкусу. Однако бывает она и у нас, у некоторых, иногда. Но главная причина не в том: иудеи не знали, а христиане знают, как «дорога цена искупления души их». Христианская жизнь начинается смертью — мы крестимся в смерть Христову; наш праздник невозможен без ломимого Тела и изливаемой Крови. В нашем богослужении есть трагическая глубина, которой у иудеев не было. Наша радость должна быть такой, чтобы ей не противоречить. Но все это не умаляет нашего долга псалмам (во всяком случае, когда я их читаю, я чувствую себя в долгу). Мы находим там религиозный опыт, ставящий в центр Бога; видим, как человек просит у Бога только Его Самого, только Его присутствия, радостного и осязаемого до предела.

Но радость эта шла и по другому руслу. Об этом мы сейчас поговорим.

VI. СЛАЩЕ МЕДА

В трагедии Расина «Гофолия» хор девушек поет о том, как Господь дал заповеди Моисею; припев там удивительный: «Oh charmante loi!» (Акт I, явл. IV). Конечно, никак нельзя перевести это буквально, выйдет в лучшем случае глупость. Для нас «очаровательный» слово и жеманное, и холодноватое, и покровительственное; мы скажем так о книге, которую не назовешь хорошей, или о женщине, которую не назовешь красивой. Не знаю, как перевести строку — «прекрасный»? «дивный»? Все не то. Важно иное: именно тут Расин (который и писать умел, и Библию знал) подходит ближе всех европейских писателей к очень характерному для псалмов чувству. Чувство это, когда я его заметил, меня сильно удивило.

«Они вожаденнее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота» (18:11). Вы думаете, это милости, или откровения, или «свойства» Божии? Нет; псалмопевец говорит о заповедях, которые «веселят сердце» (18:9), о Законе, а не о «суде» в том смысле, в котором мы писали о нем в гл. I.

Я очень удивился. Приказы «не укради», «не прелюбодействуй» можно почитать, можно им следовать, но как можно ими наслаждаться? Это нелегко, особенно — тогда, когда заповедь противостоит сильному и, в сущности, оправданному желанию. Муж, прикованный несчастным браком к истинной ведьме и преданно любящий хорошую женщину, или голодный, оказавшийся один и без денег в лавке, где пахнет хлебом и кофе, вряд ли сравнит эти заповеди с медом. Они могут им подчиниться, но скорее уподобят их зубному врачу или окопу на передовой.

Один серьезный ученый и честный христианин объяснил мне это так: они радовались, что подчинились Закону, что совесть у них чиста. Мне жалко с ним спорить, да и в ответе его немало правды. Чистой совести они радовались; но псалом говорит не об этом.

В 1 псалме сказано о «блаженном муже»: «Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (1:2). «Размышляет», а не «исполняет» или «повинуется». Конечно, речь идет не только о десяти заповедях, но обо всем сложном «Законе», который содержится в книгах Левит, Чисел и Второзакония. Блаженный муж делает именно то, о чем говорит Бог Иисусу Навину: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь» (Нав.1:8). Это значит, кроме всего прочего, что Закон изучали, он был, как мы сказали бы, «предметом». Его толковали учителя, его зубрили ученики. В этом смысле им можно было «наслаждаться» так, как у нас «любят» историю, физику или археологию. Такая любовь вполне невинна, если к ней не примешиваются радости самодовольства и презрения к неученым или более грубые радости карьеризма.

Опасность умножается во много раз, когда сам «предмет» священен: к крохоборству, тщеславию и спеси прибавляется гордыня. Иногда (не всегда) я рад, что я не слишком хороший богослов; уж очень легко тогда счесть себя хорошим христианином. По сравнению с этим просто смешны искушения химика или филолога. Когда наука священна, гордый и умный человек может подумать в конце концов, что «внешние» не только необразованней,

чем он, но и ниже в глазах Господних, — «этот народ невежда в законе, проклят он» (Ин. 7:49). Гордыня растет, наука, дающая такие преимущества, усложняется, запретов все больше; наконец, прожить день, не нарушив какой-нибудь заповеди, становится так же трудно, как станцевать сложный танец, а это, в свою очередь, приумножает самодовольство одних и запуганность других. Тем временем «важное в законе», праведность, отходит на самый задний план; законники оцепивают комара, поглощая верблюда.

Тогда закон, как и обряд, становится злокачественным. Он живет уже сам по себе, губя то, ради чего он создан. Чарльз Уильямс сказал: «Когда средства автономны, они ужасны». Такое перерождение — одна из причин той радости, с которой апостол Павел говорит об избавлении от Закона. Оно же вызвало суровые слова Спасителя; именно в нем — и грех, и кара книжников и фарисеев. Но сейчас я хочу подчеркнуть другое. Я хочу снова показать ту добродетель, которая может переродиться в такой порок.

Всякий знает, что особо посвящен Закону 118 псалом, самый длинный из всех. Всякий заметил, наверное, что он еще и самый искусный. Автор берет слова, которые в этом контексте синонимичны (откровения, пути, уставы, заповеди, суды, закон), и играет синонимами в каждом из восьмистиший, соответствующих одной букве алфавита. Тем самым, это не крик души, вроде псалма 16, а плетение словес, тонкое шитье, кропотливая и долгая работа.

Это очень важно, потому что вводит нас в настроение, в состояние псалмопевца. Наверное, он чувствовал к Закону то же, что к своему искусству: и то и другое предполагает точное и благоговейное следование некоему узору. Отсюда есть путь к фарисейству, но само по себе это вполне невинно. Тем, кто таких вещей не любит, это покажется нудным и натужным, но они ошибутся. Автор просто наслаждается ладом. Конечно, он знает, что речь идет о несравненно большем, чем танец или стихи. Кроме того, он знает, что ему не дается этот лад: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!» (5). Но старается он не из рабского страха. Лад Господня ума, воплощенный в Законе, прекрасен. Что же делать человеку, как не воспроизводить его по мере своих сил? На пути откровений он радуется, как во всяком богатстве (14), уставами утешается (16), они — его песни (54), они лучше меда (103), лучше золота и серебра (72); чем шире открыты его глаза, тем яснее он видит чудеса Закона (18). Это речь не педанта, а поэта, потрясенного нравственной красотой. Если мы его не понимаем, хуже нам, не ему. И мне все кажется, что китаец-христианин оценил бы этот псалом лучше, чем мы, ибо древняя китайская культура, его «детоводитель ко Христу», прекрасно знает великую ценность лада, порядка, отражающего Высший лад.

Но это не все. В трех стихах псалмопевец говорит, что Закон «истинен» или «истина» (86,138, 142). В стихе 7 псалма 110 тоже говорится, что «все заповеди Его верны». Современный человек логично рассудит, что заповедь — это повеление, а называть повеление «истинным» бессмысленно. Фраза «дверь закрыта» может быть истинной и ложной, фраза «закрой дверь» — не может. Но я понимаю, что хотели сказать псалмопевцы. Они хотели сказать, что Закон дает истинные, прочные, твердые правила жизни. Закон отвечает на вопрос: «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» (118:9); он — светильник, свет (118:105). Вокруг, у язычников, были другие правила. Псалмопевец верит, что хорош и прочен его Закон, а не они; что Закон этот стоит на самой природе вещей и природе Бога.

Тем самым, он решает спор, возникший много позже. В XVII веке были ужасные богословы, утверждавшие, что Бог повелел то или иное не потому, что это хорошо, а потому, что воля Божия определяет, чему быть плохим, чему — хорошим. Для ясности один из них сказал, что Бог мог повелеть, чтобы мы не любили, а ненавидели друг друга, и ненависть была бы тогда благом, добродетелью. Лучше и благочестивей вообще не верить в Бога и жить без этики, чем иметь такую этику и теологию. Конечно, иудеи не обсуждали этого в абстрактных, философских понятиях. Но они дали правильный ответ. Они знали, что праведен Бог, а не только страх Божий. Сам Господь «любит правду» (10:7), потому что и она, и Он — благи. Тем самым, законам Его присуща некая эстетика, «истинность», «действительность», и они крепки, как созданная Им природа.

Псалмопевец говорит об этом лучше меня. «Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков! Правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои — бездна великая!» (35: 6-7). Иудей радуется Закону, как радуется тот, кто нащупал твердое дно, или тот, кто вышел из топи на ровную дорогу.

Ведь были и другие дороги, лишенные «истины». Рядом с иудеями жили народы, близкие к ним по крови, исповедовавшие самое гнусное язычество, в котором не было ни красоты греческих мифов, ни мудрости греческой философии. На этом фоне красота Закона особенно выделялась; и этому не мешало, а даже помогало то, что иудеи иногда впадали в такое язычество. Страшные обряды были им соблазном в страшные времена — например, когда напали ассирийцы. Мы, не так давно ожидавшие со дня на день, что страну нашу захватит привычный к жестокости враг, должны их понять. Когда им казалось, что Господь оглох, им хотелось прибегнуть к помощи жутких богов, которые требовали намного больше и, может быть, больше давали. Но если иудей глядел на те обряды в лучший час или сам был лучше, если вспоминал о храмовой проституции и о сожжении детей, его Закон сиял ослепительным светом, он был слаще меда. Если эта метафора нам не по вкусу (мы не так любим сладкое, как древние, у нас вдоволь сахара), сравним Закон со свежей водой, со свежим воздухом после душевной комнаты, с ясным утром после страшного сна. Но и тут псалмопевец в псалме 18 сказал гораздо лучше.

Я считаю 18 псалом величайшим из всех псалмов и одним из величайших лирических стихотворений. Вспомните, как он составлен: шесть стихов о природе, пять — о Законе, три — молитва. Между первыми и вторыми логической связи нет, и в этом смысле он напоминает современные стихи. Современный поэт предоставляет нам догадываться, что с чем связано; но сам он это знает и мог бы объяснить. Я не уверен в том, что древний поэт это знал. Мне кажется, что он, об этом не думая, просто чувствовал связь, более того — единство первой и второй темы, и даже не замечал перехода. Вот он помыслил о небе и сказал о нем. Вот — о солнце, о радости его восхода, о быстроте его движения, о его «теплоте» — не о мягком тепле наших широт, а об испепеляющей жаре, от которой «ничто не укрыто». И вдруг, в стихе 8, он говорит о другом, но вряд ли ощущает переход, ведь Закон так похож на всепроникающий, всевидящий солнечный свет. Он просвещает очи, он вечен и чист, он сладостен. Так воспринимали они Закон: он был для них светлым, суровым, радостным, очищающим. Стоит ли прибавлять, что у этого псалмопевца нет ни капли самодовольства и третью часть псалма он посвящает своим «погрешностям»? Как солнце выискивало его в любой расщелине, куда он прятался от зноя, так и Закон высмотрит все его тайные грехи.

Если радость о Законе возникла из сопоставления его с язычеством, нам не так уж трудно ее понять. Остров христианства все меньше и все четче; прибой других правил жизни подмывает берег. Правила эти еще не так гнусны и жестоки, как некоторые семитические религии, но человек в них очень мало значит, а жестокости в них немало. Некоторые из них совершенно иначе понимают «нравственность», некоторые ее отрицают. Быть может, скоро нам придется оценить свежий воздух христианской этики, но и тут нас ждет опасность. О ней я подумал, читая все те же псалмы, и сейчас о ней поговорю.

VII. ПОТВОРСТВО

Всякий, кто внимательно читал псалмы, заметил, что они сурово осуждают не только самый грех, но и нечто другое. В 25 псалме праведник и сам «ходил в непорочности», и «не сидел с людьми лживыми... возненавидел сборище злонамеренных» (4-5). В 30 он ненавидит «почитателей суетных идолов» (7). В 49 Бог укоряет не вора, а человека, который, когда видит вора, сходится с ним и с прелюбодеями сообщается (18). О том же самом говорится в псалме 140:4-6. И почти смешно, когда псалмопевец взывает в 138 псалме: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнущаться восстающими на Тебя? Полною ненавистию ненавижу их; враги они мне» (21-22).

Если человек решается ненавидеть тех, кого он считает Божьими врагами; если он

избегает тех, кого считает плохими, судит ближних, думая, что он для них «слишком хорош», опасность почти гибельна. Он на прямом пути к тому фарисейству, которое обличает Спаситель; не только к гордыне, но и к глупости тех, кого мы зовем святошами. Говорю это сразу. Но не будем фарисеями даже к фарисеям. Глупо читать такие строки, не понимая, что за ними стоит реальная проблема. Сам я не знаю, как ее решить.

Мы часто слышим, что такой-то издатель — подлец, такой-то политик — лгун, такой-то чиновник — деспот, кто-то кого-то гнусно обманул, кто-то обижает жену, какая-то знаменитость (скажем, киноактер) ведет мерзкую и лицемерную жизнь. Но теперь принято обращаться с ними как ни в чем не бывало, приветливо, даже сердечно. Люди стараются увидеть их. Люди покупают газету подлеца и поддерживают тем самым ложь, наглость, обиды, грубости и непристойности, которые вроде бы не одобряют.

Я сказал, что это проблема; на самом деле их две. Одна — социальная: правильно ли, что подлость никак не наказуется, хотя бы не отделяется? Не лучше ли обращаться с некоторыми людьми, как обращались с палачами? Они бы знали, что их не примут в клуб, не позовут в гости, а если они посмеют заговорить с женщиной, она их может ударить. Правильно ли, что у нас нет ничего, кроме беспомощного соглашательства и карательных мер? Нет протеста, нет умеренного, как бы частного мятежа. Хорошо ли, что можно сочетать радости развратника или тирана с радостями честного человека, легко и свободно живущего между равными? На этот вопрос я ответа не знаю. Если все станет иначе, опасности огромны; они не меньше, если все останется по-прежнему.

Но сейчас, здесь я говорю о частной жизни. Как нам себя вести с очень плохими людьми? Уточняю: с очень плохими людьми, у которых есть власть, богатство и апломб. Если это изгои и неудачники, если их подлость не окупилась, тогда каждый христианин знает, что делать. Пример наш Христос с самаритянкой, Христос с взятой в прелюбодеянии, Христос с мытарями и грешниками. Конечно, я имею в виду Его смирение, Его любовь и жалость, Его безразличие к презрению и пересудам. Но если вы или я не уполномочены саном, дружбой или просьбой, мы, в отличие от Него, не вправе ни обличать, ни отпускать грехи. Будьте очень осторожны, страсть к покровительству и к чужим делам очень часто прикрывается милосердием. Однако и это не все. Можно не сомневаться, что не один Христос ел с мытарями; но у этих «других» и причины были другие.

Мытарей мы назвали бы сейчас самыми жалкими из коллаборационистов. Они были изгоями, вроде палача; но многие из них богатели, и почти все они, если не все, пользовались презрительным покровительством римлян. Нетрудно предположить, что некоторые поддерживали с ними отношения, чтобы «попользоваться» или чтобы задобрить их на всякий случай. Среди их гостей, кроме Христа, были и лизоблюды, и люди, похожие на одного моего знакомого, Когда он учился в Оксфорде, он был социалистом. Потом он преподавал где-то в провинции и пришел ко мне лет через десять. Он понял, что государство не должно ни во что вмешиваться. Эти неучи и подлецы из министерства просвещения вконец извели его, честного учителя, который знает учеников, знает свое дело, знает местные условия. Сейчас не важно, прав он был или нет; важно, что он так думал. И он пришел меня попросить, чтобы я замолвил за него слово в министерстве.

Если бы я познакомил его с каким-нибудь чиновником, он, я уверен, был бы с ним очень вежлив, и тот, кто слышал его обличения, мог бы подумать, что он, как истинный христианин, любит грешника, ненавидя грех.

Конечно, это крайний, почти фарсовый случай. Но бывают случаи потоньше, посложнее. Многие мечтают познакомиться со знаменитостью, даже если ругают ее за глаза. Все же приятно, когда тебя окликнет известный человек, особенно если ты идешь с родственником из провинции. Не знаю, очень ли греховны эти мечты. Но думаю, что христианин должен всячески избегать грубых, жестоких, циничных, надменных людей.

И не потому, что он для них слишком хорош, а потому, что слишком плох. Мы недостаточно хороши, чтобы справиться с соблазнами и проблемами, которые нас поджидают. Соблазн в том, чтобы поддакнуть, одобрить словами, смехом, взглядом. Он

особенно велик теперь, когда мы не без основания так боимся ханжества. Если же не избегать этих сборищ, мы вечно будем попадать в них, нас туда просто затянет. Мы будем слушать, как подлость выдают за юмор, рассказывая даже не похабные истории, а такие, которые не расскажешь, не злоупотребив доверием. При нас будут выдавать людей, прикрываясь состраданием или остроумием. Будут все высмеивать, будут защищать жестокость, принимая без доказательств, что все прочее — сантименты. От малейшей веры в какую-то другую жизнь — в бескорыстие, в жертвенность, в благородство — будут просто отмахиваться, так что даже нельзя будет об этом серьезно поспорить.

Что же нам делать? Если мы никак не протестуем, мы играем им на руку. Они еще раз убедятся, что «эти христиане» думают на самом деле так же, как они. Мы предаем Христа, когда все это терпим, словно «не знаем этого Человека». Но что же тогда? То и дело прерывать разговор, крича: «Я против!»? Встать и уйти? Это тоже подтвердит ходячее мнение о христианах — мы окажемся именно теми ханжами и невежами, какими нас считают.

Хорошо молчать. Особенно это хорошо, потому что удовольствия от этого мало, а прямой протест может доставить особое наслаждение. Но и протестовать можно, только не властно, а в нормальном споре. Нередко нас поддержит самый неожиданный человек, потом другой, пока не окажется, что почти все думали, как мы. Конечно, «те» могут переспорить, но я понял, что это не так уж важно. Иногда через много лет самый заядлый ваш противник вдруг переменит мнение, и окажется, что повлияли на него ваши слова.

Но бывает зло такой степени, когда надо возразить, что бы из этого ни вышло. Бывает такой беспардонный цинизм, такая жестокость, что мы обязаны протестовать. Если при этом нельзя не показаться ханжой, что ж, покажемся ханжами.

Ведь важно другое: ханжа ли вы на самом деле. Если вам тяжело возражать, трудно вмешиваться, значит, эта опасность вас миновала. Если вам нравится обличать, тогда это опасно. Что же до чужого мнения, есть сообщества, в которых ханжой сочтут всякого приличного человека, а тому, кого не сочтут, стоит призадуматься. Чистоплюйство — грех, но в некоторых кругах только полный бесстыдник избежит этих обвинений.

Особенно трудно общаться со «злонамеренными», потому что тут нужны не только добрая воля, смирение и смелость, но и ум, и умение вести себя, которые Бог дает не всегда. Поэтому «не сидеть» с ними велит нам не святошество, а здравый смысл. Слова «не введи нас во искушение» значат, среди прочего, «не попусти лестных приглашений, блестящих знакомств, причастности к элите, хотя мне очень этого хочется!».

К предостережениям против потворства близки слова псалмопевца о других грехах, в которых повинен язык (возможно, иногда тут играют роль архаические, даже магические представления о внутренней силе слов, о прямом и непосредственном воздействии хвалы или хулы). Сперва меня это удивило: я думал, что в то простое, грубое время зло творили мечом, огнем, дубиной. Однако в псалмах то и дело сетуют на более тонкое зло: «Ибо нет в устах их истины... гортань их — открытый гроб, языком своим льстят» (5:10). «Под языком его — мучение и пагуба» (9:28); «уста льстивы» (11:3); «уста лживые» (30:19); «слова уст его — неправда и лукавство» (35:4); «все, ненавидящие меня, шепчут между собою» (40:8); язык, «как изощренная бритва» (51:4); «уста их мягче масла, а в сердце их вражда; слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи» (54:22); «всякий день поносят меня враги мои» (101:9). Тут не надо никаких научных подтверждений, мы все это знаем, мы даже слышим в злобном и вкрадчивом хоре знакомые голоса. Один из них слишком знаком, так что трудно его узнать.

VIII. ПРИРОДА

Отношение псалмопевцев к природе определяют два фактора. Первый есть у всех древних авторов; второй был в их времена предельно редок.

1. Псалмопевцы принадлежат к крестьянскому народу. Для нас само слово «еврей» связано с деньгами, торговлей, ростовщичеством. Но это восходит лишь к Средним векам,

когда евреи не имели права владеть землей. Какие бы черты ни выработали в них века таких занятий, у их ветхозаветных предков черт этих не было. Они возделывали землю. Даже царь, отнимающий виноградник у своего подданного, больше похож на злого помещика, чем на царя. Все были связаны с землей; каждый чувствовал свою прямую зависимость от почвы и погоды. Точно так же жили очень долго и греки, и римляне. Тем самым, тогда не могло быть «любви к природе» — чувства горожанина, выбравшегося за город. Когда городов мало и сами они малы, люди не сознают, что есть некая «сельская жизнь». «Природа» — это просто мир, как вода для рыбы. Конечно, любоваться природой они могут, но в это естественно входит польза. Гомер любит пейзаж, но описывает он хорошую землю, обилие воды, тучные пастбища, крепкий лес. Поскольку, в отличие от евреев, он — из народа мореплавателей, упоминает он и удобную гавань. Псалмопевцы, поэты лирические, не описывают пейзажей. Зато они несравненно передают ощущение погоды; они видят ее, как видит крестьянин, и наслаждаются ею, как, наверное, наслаждаются растения. «Ты посещаешь землю, и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее... Напоешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастения ее... И холмы препоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом; восклицают и поют» (64:10-14). А в псалме 103 прямо сказано: «Насыщаются древа Господа».

2. Все мы знаем, что евреи верили в единого Бога, сотворившего небо и землю. Природа и Бог были для них отделены друг от друга: Он ее создал, Он повелевал, она повиновалась. Это мы знаем. Но не всегда понимаем, что это, в сущности, значит.

Во-первых, для нас это прописная истина. Мы принимаем ее как должное. Наверное, многие из нас думают, что во всех религиях есть четкая доктрина творения и каждая может ответить на вопрос: «Кто создал мир?» На самом деле доктрина эта исключительна, если не единственна; когда же отдаленное ее подобие встречается у язычников, оно не имеет религиозного значения, во всяком случае, религия стоит не на нем. Оно там, где религия переходит во что-то вроде сказки. В одном египетском мифе бог Атон — по-видимому, гермафродит — вышел из воды, зачал и сам родил еще двух богов, и тогда уже «все началось»; в другом — целое скопище богов вышло из богини Нун. По вавилонскому мифу, до сотворения земли и неба существо по имени Апсу и жена его Тиамат произвели Лахму и Лахаму, а те, в свою очередь, — Аншар и Китар, которые были больше своих родителей, так что получается что-то вроде эволюции. В скандинавском мифе вначале есть огонь и лед, юг и север, и среди всего этого возникает великан, который вынашивает под мышкой сына и дочь. Когда начинается греческая мифология, уже есть и небо, и земля.

Я пишу об этом не для того, чтобы посмеяться над топорностью мифов. Смеяться тут не над чем. Все говорят о таких вещах топорно, даже ребенок и мистик. Я хочу показать, что нигде здесь нет и намека на сотворение мира. Что-то возникает из чего-то, и все. Даже если бы это было правдой, повествовала бы она об очень ранних событиях, но не о начале. Когда поднимается занавес, пьеса уже идет. Вы скажете, эти мифы отвечают на вопрос, как она началась. Отвечают, но в каком смысле? Когда опоздавший зритель обратится к вам, вы можете сказать ему: «Сперва были три ведьмы, потом король разговаривал с раненым солдатом...» Но он мог иметь в виду другое: «Откуда эта пьеса взялась? Может быть, актеры импровизируют? Или кто-то есть еще, не на сцене, и он ее выдумал?»

Конечно, у Платона можно найти теологию творения в иудео-христианском смысле — Вселенная, существующая в пространстве и времени, творится волей совершенного, вневременного, ничем не обусловленного Бога, превосходящего то, что Он творит. Но Платон стоит особняком, он — религиозный гений (хотя помог ему, несомненно, Просвещающий всех).

Нетрудно понять, как важна в религиозном смысле такая особенность иудейской доктрины. Но мы не всегда понимаем, как важна она для нашего мироощущения и воображения.

Бог сотворил природу, значит, они и связаны, и отделены друг от друга. Творец и

творение — не одно и то же. Поэтому доктрина творения в определенном смысле лишает природу божественности. Теперь мы не чувствуем, как трудно к этому прийти и этому следовать. Наверное, нам поможет отрывок из Книги Иова: «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление..., потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего» (31:26-28). Речь идет не о страшных богах-демонах: отдать дань поклонения луне или солнцу очень естественно, вполне невинно. Должно быть, иногда так и бывало, и Творец небесных светил принимал это как должное. Однако автор Книги Иова ощущает это как преступление, для него это — соблазн; и ни один европеец уже тысячу с лишним лет такого соблазна не знает.

Но эта же доктрина, лишая природу божественности, делает ее символом, знаком, проявлением Бога. Вспомним два отрывка, которые я уже цитировал. В 18 псалме всевидящее и всеочищающее солнце — образ всевидящего и всеочищающего Закона. В 35 псалме говорится так: «Господи! Милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков! Правда Твоя — как горы Божий, и судьбы Твои — бездна великая!» (6-7). Именно потому, что горы, облака и бездна — не боги, они могут стать образами Бога. Что даст, если Аполлона сравнить с солнцем или Нептуна с морской бездной? Но сравнение Закона с солнцем, судеб — с бездной дает очень много.

Природа полна таких образов, все в ней связано с Богом. Свет — одежда Божия, небеса — Его шатер (103:2), гром — Его голос (28:3-5), мрак — покров (17:12), горы дымятся, когда Он к ним прикасается (103:32). Мир полон Его посланников. Он шествует на крыльях ветра, восседает на херувимах (17:11), и огонь — Его служитель (103:3-4). Казалось бы, все это очень близко к язычеству. Тор и Зевс говорили голосом грома, Гермес и Ирида были посланцами богов. Но совсем не одно и то же — слышим мы в громе голос Бога или голос бога. У богов есть начало, у многих из них есть родители, и мы нередко знаем, где они сами родились; бытие дано им, как нам. Они, как мы, — твари, создания, только сильнее нас и красивее. Они — актеры, а не авторы космического действия. Платон это понимал. Бог у него создает богов и хранит от смерти; бессмертие не присуще им, а тоже дано. «Боги» не множественное от «Бог», кто-то сказал, что у слова «Бог» нет множественного числа. Тем самым, голос бога, в сущности говоря, не потусторонен. Если вы примете бога за посланца, то есть за ангела, вы пойдете дальше. Природа лишится богов, но исполнится Бога, ибо станет Его вестницей.

Но вера в сотворение мира дает не только это: благодаря ей мы можем воспринимать природу не как данность, а как достижение. Иногда псалмопевцы радуются самой ее прочности. Господь придал Своим творениям присущую Ему змет — они крепки, устойчивы, на них можно положиться, «все дела Его верны... ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось» (32:4-9). Он поставил «горы силою Своею» (64:7), «поставил землю на твердых основах» (103:5). «Поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет» (148:6). Посмотрите, как в 135 псалме поэт переходит от сотворения природы к освобождению Израиля из Египта: и то и другое — хорошая работа, великая победа.

Такое восприятие приводит к поистине удивительным вещам. Мы уже говорили, что евреи, как почти все древние, были крестьянами и видели природу глазами садовника или фермера. Их радовала трава для скота, зелень на пользу человека, вино, которое веселит сердце, и елей, от которого блистает лицо (103:14-15; именно такое лицо сравнивал Гомер с очищенной луковкой). Но этим евреи не ограничивались. Они благодарили Бога и за то, что человеку пользы не приносит. В прекрасном псалме, посвященном именно природе, мы читаем не только о скоте, зелени, вине или хлебе. Тут и «дикие ослы утоляют жажду» (103:11), и «ели жилище аисту» (103:17), а «каменные утесы — убежище зайцам» (103:18; по-видимому, это не зайцы, а особые животные, вроде сурка), и даже львы (103:21), более того — киты («левиафан» стиха 26), которые играют в море.

Конечно, это совсем не похоже на нашу «любовь к животным». Нам нетрудно любить животных, нам не приходилось голодными и усталыми работать вместе с ними, а опасных

зверей у нас давно нет. (Упаси вас Господь подумать, что я пренебрежительно отзываюсь о любви к животным. Я просто хочу сказать, что для тех, кто знает только комнатных животных, это не такая уж ценная добродетель. Очень плохо, если такой любви у вас нет, но если она есть, хвалить себя не за что. Хвалить надо не нас, а замученного пастуха или возчика, который все равно ее не утратил.) То, что испытывали евреи, поражает и силой, и беспристрастием. В скандинавских мифах чудовища враждебны не только людям, но и богам. В мифах античных боги посылают их, чтобы наказать или истребить неугодных. Нигде нет такого ясного и объективного взгляда: вот лев и кит, вот человек. Мне кажется, это происходит оттого, что иудеи знали Бога, сотворившего и держащего всякую тварь. Про львов говорится, что они «просят у Бога пищу себе» (103:21), и все существа, как и мы, люди, «ожидают», чтобы Бог «дал им пищу их в свое время» (103:27). Хотя ворон был для евреев нечистой птицей, Бог дает пищу и «птенцам ворона, взывающим к Нему» (146:9). Потому они и нравятся псалмопевцу: все мы — и львы, и аист, и ворон, и кит — на Божьем довольствии, и упоминание о каждом из нас умножает Ему хвалу.

Мою догадку подтверждает интересное свидетельство. Я сказал, что у язычников нет такого восприятия природы; на самом же деле в одной очень древней поэме оно есть. Она вообще очень похожа на 103 псалом. Но в том-то и суть, что автор ее — не политеист. Она восхваляет не богов, а единого Бога, сотворившего все сущее. Языческая словесность предвосхитила мироощущение словесности иудейской, но лишь в том случае, когда и богословие предвосхитило, в определенном смысле, богословие ветхозаветное. Другого мы и ждать не могли.

Речь идет о египетском «Гимне солнцу» (XIV в. до Р.Х.). Создал его Аменхотеп IV, называвший себя Эхнатом. Многие читатели знают о нем. Он совершил религиозный переворот, порвал с политеизмом отцов и всеми силами пытался привить Египту монотеизм. Наверное, жрецам он казался чем-то вроде нашего Генриха VIII, разорившего монастыри. Монотеизм его был чист и высок. Он даже не считал богом само солнце, оно было лишь образом, проявлением Бога. Это — поразительное прозрение, быть может, более поразительное, чем у Платона, и не менее противопоставленное обычному язычеству. Но ничего из этого не вышло. Религия Эхнатона умерла вместе с ним.

А может быть, из этого вышел иудаизм. Нет ничего невероятного в том, что идеи Эхнатона входили в египетскую «премудрость», которой учился Моисей. Все, что было в этих идеях истинного, исходит, как всякая истина, от Бога. Господь мог использовать и это орудие, являя Себя Моисею. Но никаких свидетельств об этом не осталось. Да мы и не знаем, достоин ли Эхнатон стать таким орудием. Мы не знаем, каким он был. Для одного ученого он — «первая личность в истории», для другого — безумец, маньяк, а может быть, и слабоумный. Даже если он был возлюблен и благословен Богом, идеи его такими не были. Хорошо ли, плохо ли это семя, упало оно на каменистые места. А может, оно и впрямь плохо. Нам, нынешним людям, кажется, что такой чистый и строгий монотеизм лучше тех начатков иудейской веры, где Ягве предстает чуть ли не богом огня. Но мы, наверное, не правы. Если мы призваны узнать не Бога философов и ученых, а конкретного Бога (куда конкретнее нас!), Которого можно любить, бояться, призывать, лучше начать смиренней, ближе к дому, со святилища, с праздника, с драгоценной памяти о Божьих судах, обещаниях, милостях. Быть может, в такую раннюю пору вера в Бога далекого, безличного и безразличного, как солнечный диск, не принесет плодов. Если нам надо прийти к яслям Вифлеема, холму Голгофы и пустой могиле, лучше начать с обрезания, пути через пустыню, ковчега и храма. «Высшее не стоит без низшего», не стоит, упадет или взлетит и затеряется в бесконечности. Тесные врата не только узки, но и низки. Надо наклониться и стать как дети, чтобы войти в них.

Поэтому не будем опрометчиво решать, что монотеизм Эхнатона был прообразом иудаизма и, если бы только жрецы и народ его приняли, Господь явил бы Себя через египетских пророков. Но сейчас нам важно другое: что ни говори, общее в этих религиях есть, и потому в гимне Эхнатона есть общее с псалмами. Как и автор 138 псалма, фараон

славит Бога за то, что Он создавал зародыш во чреве матери, «был нянькой нашей в утробе». Он славит Бога и за то, что Он учит цыпленка, как разбить скорлупу и вылупиться из яйца, пища и чирикают во всю свою силу. В стихе о том, что Бог сотворил землю по Своему желанию, он предвосхищает Новый Завет — «и все по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:11). Но есть и разница — львы для него не наши братья в Боге. Он пишет о них иначе, примерно так: «Когда ты скроешься, мир во тьме, как бы мертвый. Выходят львы, и жалят всех аспиды». В едином ряду со смертью и змеями львы эти — наши враги. Так и кажется, что сама ночь — врагиня, неподвластная Богу, а это близко к дуализму. Да, разница есть, но есть и сходство, а сейчас нам важно именно оно. У Эхнатона, как у псалмопевцев, определенное мировосприятие, выраженное в поэзии, обусловлено определенным представлением о Боге. Но во всю свою силу и то и другое развилось у иудеев. (Можем ли мы расстаться с этой темой, не помолившись о том, чтобы древний царь, каким бы безумным и одержимым он ни был, давно уже радовался истине, которую так несовершенно предвидел?)

IX. ХВАЛА

Быть может (я очень на это надеюсь), сейчас я напишу ненужную главу. Те, кто не так туп, чтобы впасть в затруднение, которое она должна распутать, найдут ее смешной. Это хорошо, отдохнуть и посмеяться полезно, как бы серьезен ни был предмет. Я знаю по опыту, что самое смешное говорят в очень важных и очень искренних разговорах.

Когда я подходил к вере в Бога, и даже когда поверил, мне мешало, что нас вечно просят «славить» и «хвалить» Его. Особенно я удивлялся, что вроде бы и Сам Он это любит. Кому понравится человек, которому надо все время повторять, что он хороший, умный или красивый? Еще противней те, кто это и повторяет миллионеру, актеру или диктатору. Эта дурацкая и жутковатая картина неотступно стояла передо мной. В псалмах было уж ни с чем не сообразно: «Хвали, душа моя, Господа», «Хвалите Господа», «Хвали, Иерусалим, Господа». (И почему они не просто хвалят, а призывают к этому других, да еще не одних людей, а каких-то великих рыб, снег и град, которые, по-видимому, и без того делают, что им положено?) Еще хуже были слова, приписываемые автором Богу: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня» (49:23). А хуже всего — исключительно глупая и языческая торговля, напоминавшая мне, как дикарь то улещает идола, то бьет; псалмопевец словно бы хочет сказать: «Ну ладно, любишь хвалу — сделай мне то-то и то-то, и хвала Тебе будет!» В псалме 53 он просит спасти его от врагов (3), а потом заверяет: «Я усердно принесу Тебе жертву, прослаблю имя Твое» (8). Снова и снова он просит его спасти на том странном основании, что мертвые не могут возносить хвалу (29:10; 87:11; 118:175). Важно даже, сколько раз он хвалит: «Седмикратно в день прославляю Тебя» (118:164). Это меня очень удручало. Поневоле думаешь то, чего думать не хочется. Благодарность Богу я понимал, поклонение Ему, послушание, но не эту же непрерывную лесть! Меня не утешил современный богослов, объяснивший мне, что «Бог имеет на нее право».

Я и сейчас считаю, что выразился он неудачно, но, кажется, я понял, что он имел в виду. Начнем с предметов неодушевленных. Что мы хотим сказать, когда говорим, что «картина заслуживает восхищения»? Не то, что ею восхищаются, — сотнями плохих картин восхищается масса народу. Не то, что она заслужила восхищение, — работала, старалась и заслужила. Мы хотим сказать, что восхищение — правильная, адекватная реакция на нее, и если мы так не реагируем, мы глупы и слепы, более того — нам же хуже, мы много теряем. То же самое можно сказать и о красотах природы. Отсюда я и шел, хотя некоторые сочтут это кощунством, пока не понял того, что нужно. Хвалить (или, если хотите, ценить) Бога — значит бодрствовать, войти в мир яви; не ценить Его — лишиться великой радости, а в конце концов и всего вообще. Ублюдочная и убогая жизнь тех, кто не воспринимает музыки, или никогда не был влюблен, или ни с кем не дружил, или не любит читать, или не радуется утренней прохладе, или, как я, не интересуется спортом, — более чем слабые подобию такого

состояния.

Но это не все. Бог не только заслуживает восхищения и хвалы, Он велит нам хвалить Его. Я этого не понимал, пока не понял того, о чем пишу в V главе: когда мы служим Богу, Он открывается нам. Не все, не всегда, но очень многие «красоту Господню» видят в храме. Даже в иудаизме суть жертвоприношения была не в том, что люди давали Богу тельцов и агнцев, но в том, что Сам Он давал Себя людям, когда они это делали; в нашей же литургии это гораздо явственней, просто физически ощутимо. Жалкую мысль о том, что Богу в каком-то смысле нужно наше поклонение, как суетной женщине нужны комплименты или тщеславному писателю — рецензия, опровергают слова: «Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе» (49:12). Даже если предположить, что есть такое нелепое существо, оно вряд ли обратилось бы к нам, низшим из своих разумных тварей. Я не жду от моего пса похвал моей книге, и не от всякого человека мне приятна похвала.

Но главного я еще не понимал. Я мыслил хвалу как похвалу, одобрение, которое кто-то кому-то выражает. Мне не приходило в голову, что всякая радость сама собой переходит в хвалу, если не сдержишь ее из робости и деликатности. Мир только и делает, что хвалит и славит: влюбленные восхваляют возлюбленных, читатели — любимые книги, спортсмены — свой спорт; словом, все кому не лень расписывают погоду, пейзажи, вина, блюда, актеров, машины, лошадей, приятелей, детей, цветы, страны, колледжи, горы, марки, насекомых, даже политиков и ученых. Я не раз замечал, что особенно часто и много хвалят самые смиренные, здоровые и умные люди, а ущербные и глупые хвалят редко и мало. Хороший критик найдет что похвалить в несовершенной книге; плохой вычеркивает из литературы одну книгу за другой. Здоровый и доброжелательный человек найдет, за что похвалить самую скромную еду, даже если он привык к очень изысканной; больной или сноб найдет недостатки в любом угощении. Если вычесть чрезвычайные обстоятельства, можно сказать, что хвала — словесное выражение душевного здоровья. Совершенно не важно, умеет ли она или нет; многие любовные стихи так же ужасны, как гимны. Еще я замечал, что, когда мы хвалим, мы вечно просим к нам присоединиться: «А? Правда? Нет, правда?» Когда псалмопевец просит всех хвалить Господа, он делает ровно то же самое, что делает человек, говорящий о предмете своей любви.

Должно быть, мы так хвалим то, что нас радует, потому что хвала не только выражает, но и дополняет нашу радость, доводит ее до полноты. Не ради лести влюбленные повторяют друг другу, как они красивы, — радость их неполна, если они этого не скажут. Когда откроешь нового писателя, непременно надо рассказать, как он талантлив; когда внезапно увидишь прекрасную долину, просто невозможно молчать; когда услышишь хорошую шутку, нужно ею поделиться. Конечно, словами всего не передашь. Вот если бы написать прекрасные стихи, или дивную музыку, или картину, наша радость была бы еще полнее. А если бы смертный человек мог достойно восхвалить самое высокое на свете, душа его достигла бы высшего блаженства.

Когда я думаю об этом, я понимаю христианское учение о том, что ангелы и блаженные души славят Бога на небесах. Это совсем не то, что «пойти в церковь». Наша «служба» — очень слабое подобие, мы только пытаемся там славить Бога, и в 99,9% случаев это нам не удается. Чтобы представить себе, о чем говорит это учение, мы должны предположить, что мы переполнены любовью к Богу, мы просто выдержать не можем такой любви и радости, они льются из нас, хлещут. В шотландском катехизисе сказано, что назначение человека — «славить Господа и радоваться Ему». В свое время мы узнаем, что это — одно и то же. Полная радость и есть хвала. Когда Господь велит нам хвалить Его, Он велит нам Ему радоваться.

А пока, как сказал Донн, мы настраиваем инструменты. Это может доставить немалое наслаждение, но только тому, кто хоть как-то провидит симфонию. Иудейские заклания и даже самые святые наши обряды — обещание, репетиция, а не концерт. Как всякая репетиция, они требуют труда, а радости могут и не дать. Но без труда радости вообще не будет. «Выполняя религиозные обязанности», мы роем каналы в пустыне, чтобы воде, когда

она появится, было где течь. Я хочу сказать, так бывает обычно; есть и другие минуты, и у некоторых поистине блаженных душ их много.

Что же до принципа «ты — мне, я — тебе», дело хуже. Этот глупый пережиток язычества действительно есть в Псалтири. Пламя не всегда чисто, но не в том суть. Да и не нам смотреть свысока на самых корыстных псалмопевцев. Мы не торгуемся так простодушно; но и не все говорим в молитве. Я часто диву даюсь, что только не приходит в голову, когда молишься, какие идиотские сделки, оговорки, какие компромиссы вот-вот предложишь Богу, как по-детски нелепо с Ним препираешься. Язычество живо в нас. Его глупости и хитрости куда сильнее его красоты и простодушия. Если вы наделены властью, нетрудно сломать свирели, остановить пляски, разбить статуи, стереть из памяти сказки; но очень трудно прикончить корыстного, запуганного дикаря, живущего в нашей душе, — ту жалкую тварь, которой Господь может сказать: «Ты это делал, и Я молчал, ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои» (49:21).

Но, как я уже говорил, все это нужно лишь немногим моим читателям. Остальным же эта комедия ошибок, этот кружной путь к очевидному даст возможность пожалеть меня и посмеяться.

Х. ИНОСКАЗАНИЯ

Теперь я должен перейти к тому, что гораздо труднее. До сих пор мы пытались читать псалмы так, как их надо было читать по замыслу псалмопевцев. Но христиане читают их иначе. Христиане находят в них иносказания, скрытый смысл, связанный с истинами Нового Завета — с Воплощением, Страстями, Воскресением, Сошествием Святого Духа и Искушением. Так читают, собственно, весь Ветхий Завет. Предполагается, что полное его значение становится ясным только в свете событий, которые произошли через много лет после смерти написавших его людей.

Современному человеку нелегко это принять. Кто-кто, а мы знаем: при желании можно вычитать из текста все что угодно. Особенно хорошо это знают те, кто пишет научную фантастику. Я с удивлением узнавал из хвалебных и из враждебных рецензий, какие глубокие аллегории содержатся в моих научно-фантастических книжках. Если примешь метод толкований, дорога открыта, обманывать себя и других ты можешь, как хочешь. Однако толковать Библию мы вправе. Что же делать? Казалось бы, гора неприступна; но я не полезу на утесы. Я пойду кружным путем, и поначалу покажется, что до вершины мне не добраться.

Начну я очень далеко от Писания и даже от христианства.

Один римский историк рассказывает, что в небольшом городе случился пожар и начался он в банях. Возникло подозрение, что там был поджог и этому способствовало вот что: в тот же день, пораньше, один горожанин пожаловался, что в бане холодно, а банщик сказал: «Ничего, скоро будет жарко». Конечно, если и впрямь был заговор и раб в нем участвовал и был так неслыханно глуп, что не удержался от ненужной угрозы, говорить не о чем. История касается нас лишь в том случае, если это чистое совпадение. Ответ раба полностью объясняется жалобой посетителя, именно так и ответил бы всякий банщик. Более глубокий смысл слова его обрели совершенно случайно.

Возьмем случай посложнее. (Читателю, незнакомому с классической филологией, скажу, что для римлян «век», или «царство» Сатурна — это утраченная пора невинности и мира, что-то вроде Эдема до грехопадения, хотя никто, кроме разве что стоиков, не придавал ей такого большого значения.) Незадолго до Рождества Христова Вергилий написал, что начинается наново ход веков, к нам возвращается царство Сатурна, придет дева и небо посылает нам дивное дитя. В Средние века верили, что до поэта дошло какое-то пророчество, быть может — через книги Сивиллы; и самого его считали языческим пророком. Современные ученые, насколько мне известно, в это не верят. Они могут спорить о том, к какой знатной или августейшей чете обращена столь непомерная лесть, но совпадение с Рождеством считают случайностью. Однако совпадение это по меньшей мере гораздо

удивительней того, первого. Если это удача, то она поистине огромна (враг христианства сказал бы, что Вергилию чертовски повезло).

Перейду к примерам другого типа и уровня. Здесь тоже кто-то говорит слова, которые в действительности глубже и истинней, чем он думает; но случайностью это назвать нельзя. Спешу заметить, что «неслучайность» совсем не значит «пророчество», «предвидение», «ясновидение». Нет у меня и малейшего намерения выдать эти примеры за свидетельство в пользу христианства. Мы вообще не говорим о свидетельствах. Мы рассуждаем о том, как относиться к таким случаям, когда в тех или иных словах открывается позже новый, более глубокий смысл. Я пытаюсь показать, что случаи эти — неоднородны. Иногда это чистое совпадение, как бы удивительно оно ни было. Иногда же открываемая позже истина как-то связана с тем, что человек хотел сказать.

Приведу примеры. 1) Святой, вдохновленный Богом, говорит нам, что где-то во Вселенной есть такое-то существо. Потом (не дай нам, Господи!) мы добираемся до других миров, неся туда собственную нашу греховность, и находим это существо. Вот пророчество в полном смысле слова. 2) Писатель (который при этом не ученый) выдумал и описал некое существо, а его потом нашли. Вот чистая случайность, удача. Выиграть на бегах может и тот, кто ничего в них не смыслит. 3) Крупный биолог предсказывает, что в такой-то и такой-то среде жизнь должна развиваться так-то и так-то. Вот тут, если мы найдем эти формы жизни, будет и не пророчество, и не случайность. Ученому помогли ученость и ум, а не удача. Истинная природа жизненных процессов объясняет, почему такое существо есть в его книгах. Когда мы перечитаем эти книги, думая о находке, мы не внесем в них ничего произвольного. О случаях этого, третьего типа я и хочу поговорить, хотя, как вы увидите, здесь сыграли роль вещи, которые выше и ума, и учености.

Платон в «Государстве» рассуждает о том, что добродетель ценят за ее ощутимые плоды — почести, хвалу, славу, — но, чтобы увидеть ее, как она есть, надо обнажить ее, очистить от них. И просит представить, что с совершенным праведником обращаются, как с чудовищным злодеем. Его связывают, бичуют, прибивают к столбу (персидский вариант распятия). Читатель-христианин протирает глаза чуть ли не в ужасе. Что же это? Опять удача и случайность? И видит, что ни того ни другого здесь нет.

Раб — несомненно, а Вергилий — вероятно «говорили о чем-то другом». Платон, прекрасно это сознавая, говорил о судьбе праведности в злом и неумном мире, то есть именно о том, что полнее всего выразилось в Страстях Господних. Если слова эти обязаны, в той или иной мере, смерти (я даже сказал бы — «мученичеству») его учителя, это ничего не меняет. По одной и той же причине несовершенная, хотя и очень высокая праведность Сократа привела его к легкой смерти, а совершенная праведность Христа — к распятию: потому что праведность — это праведность, а падший мир — это падший мир. Вдумываясь в сущность праведности и мира, Платон подошел так близко к истине не потому, что был удачлив, а потому, что он был мудр. Если человек, не выезжавший из Англии, заметит, что на высокой горе снег тает позже, он может додуматься до того, что на очень высоких горах есть вечные снега. Когда он увидит Альпы, он не скажет: «Какое совпадение!», он скажет: «Ну вот! Говорил же я».

А как нам быть с многочисленными языческими богами, которых так и называют — «умирающими и воскресающими»? Именно ученые, враждебные нашей вере, скажут вместе с нами, что совпадение не случайно. Правда, они при этом думают: «У всех этих предрассудков — один и тот же источник и в опыте, и в сознании. Скорее всего, это связано с земледелием. Ваш миф о Христе похож на миф о Бальдре, потому что у них одинаковое происхождение; это, так сказать, семейное сходство». Христиане думают разное, одни — одно, другие — другое. Многие из Отцов Церкви, считающие язычество чистой бесовщиной, сказали бы: «Как все умелые лжецы, диавол старается, чтобы его ложь была особенно близка к правде; потому мы и зовем его обезьяной Господа. Сходство между Адонисом и Христом не случайно, как сходство между подлинником и пародией, между жемчугом и подделкой». Те же, кто считает, как я, что в языческой мифологии есть и божественное, и бесовское, и

человеческое (вкус к доброму рассказу), скажут так: «Да, это не случайно. Смена ночи и дня, смерть и воскресение растений породили смутное и трудно выразимое знание: и человеку надо пройти через смерть, если он хочет жить в истинном смысле слова. Сходство этих мифов и христианской истины не случайней, чем сходство между солнцем и его отражением в воде, между историческим событием и народным преданием о нем, между деревьями и холмами наяву и во сне». Как видите, сторонники всех трех точек зрения сочтут сходство неслучайным.

Другими словами, мифы, стихи или фразы, обретающие в свете позднейших событий новое значение, — неоднородны. Мы, конечно, в любом случае вправе примысливать к ним новое значение, но это наше частное дело. Если, читая Вергилия, я непременно вспоминаю о младенце Христе и даже специально перечитываю эти стихи под Рождество, польза мне будет; но, вполне возможно, я ему приписываю то, о чем он и не думал, как не думал о пожаре банщик. Если же я, читая Платона, размышляю о Страстях, это дело другое. Я знаю, в чем тут связь, Платон — не знал, но она есть, я ее не выдумал. Вполне возможно представить себе, что Платон или создатель мифа, узнав истину, сказали бы: «Вот оно что!.. Вот о чем я пытался поведать, сам того не ведая». Бедный банщик, конечно, сказал бы: «Да что вы, я и не думал». Что сказал бы Вергилий, я не знаю.

(Нет, будем милостивее и представим, что они не «сказали бы», а «сказали», ибо давно узнали и признали истину — «многие придут с востока и запада и возлягут в Царстве Небесном»...)

XI. ИНОСКАЗАНИЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Если в языческих текстах могут быть иносказания того рода, как я только что говорил, вполне резонно предположить, что в Ветхом Завете их больше. У нас, христиан, две причины так думать.

1) Для нас Писание священо, или боговдохновенно. Слова эти понимали по-разному, и мне лучше объяснить, как понимаю их я, хотя бы по отношению к Ветхому Завету. Меня считают приверженцем полного, безоговорочного принятия всех текстов как исторических. Мнением этим я обязан тому, что не отвергаю того или иного текста, если в нем речь идет о чудесах. По-видимому, многим так трудно верить в чудеса, что они и представить не могут другой причины моих странных поступков, кроме буквального принятия всей Библии. Но я повинен в этом не более чем блаженный Иероним, сказавший, что Моисей описал сотворение мира «как народный поэт», то есть, на нашем языке, как мифотворец, или Кальвин, сомневавшийся в историчности Иова. Я принимаю истории, в которых есть чудеса, просто потому, что еще не нашел философских причин для отрицания чудес. Когда же я решаю, историчен ли тот или иной текст, критерий у меня совсем другой. Книга Иова не кажется мне исторической потому, что в ней речь идет о человеке, не связанном ни с какой генеалогией и живущем в стране, о которой в Писании ничего не говорится; короче — потому, что автор явно пишет как писатель, а не как летописец.

Поэтому мне ничуть не трудно согласиться с учеными, которые считают, что рассказ о сотворении мира происходит от более ранних языческих мифов. Конечно, надо понимать, что значит слово «происходит». Повествования не плодятся, как мыши; их рассказывает человек, и каждый рассказчик или меняет их, или нет. Менять их он может и намеренно и бессознательно. Если он меняет их намеренно, в дело идут его воображение, его чувство формы, его этические взгляды, его представление о том, что назидательно, полезно или просто занятно. Таким образом, в так называемое (не совсем точно) развитие повести вмешиваются люди. Люди же, да и никто вообще, не могут делать ничего доброго, если Бог не поможет. Когда длинный ряд изменений превратил легенду, не имевшую религиозного или философского смысла, в историю о творении из ничего и о трансцендентном Творце, я ни за что не поверю, что некоторых рассказчиков, хотя бы одного, не вдохновлял Бог.

Таким образом, миф, который мы находим у многих народов, поднят Богом над самим

собой, признан Им и призван служить тому, чему он сам по себе служить не мог. Обобщая, скажу: по-видимому, Ветхий Завет состоит из всего, из чего состоит любая словесность, — в нем есть хроники (нередко очень точные), стихи, политические и нравственные рассуждения, любовные истории и многое другое, но все это служит Слову Божию. По-разному, конечно: пророки пишут, ясно ощущая Божью руку; летописец, быть может, просто записывает события; стихотворцы, сложившие Песнь Песней, наверное, ни о чем и не думали, кроме самого приятного, мирского смысла. Кроме того, и это очень важно, все перемножено на труд и иудейской, и христианской Церквей, сохранивших, отобравших и освятивших именно эти книги. Прибавьте еще труд тех, кто правил и издавал их. Каждому помогал Бог, но не каждый об этом знал.

Свойства сырья вполне ощутимы. Мы встретим нелепости, ошибки, противоречия, даже грех (вспомните главу о проклятиях). Ветхий Завет — Слово Божие, но совсем не в том смысле, что каждая фраза в нем верна и безупречна. На нем — печать Божьего слова; а мы — с Божьей помощью, почтением к толкователям, которые были мудрее нас, и во всеоружии того ума и той учености, какие нам отпущены, — примем это слово, но не как энциклопедию и не как энциклику. Мы войдем в него, настроимся на его волну и тогда поймем всю полноту им сообщаемой вести.

Нам, людям, это кажется истинным расточительством. Какая, в сущности, несовершенная и неполная возгонка мирского сырья! Насколько бы лучше прямо получить чистый свет последней истины, и притом упорядоченно, в системе, чтобы мы могли заучить все это, как таблицу умножения. Поневоле позавидуешь тем, кто верит в совершенную непогрешимость Писания и Церкви. Но остережемся рассуждений вроде: «Бог делает все как лучше; это — лучше, значит, Богу надо сделать именно это». Мы смертны и не знаем, что для нас лучше, и нам опасно предписывать Богу, как Ему поступать, тем более что здесь, на земле, мы и не видим Его дел со всех сторон.

Нетрудно заметить, что учение Самого Господа, в котором уж точно нет пятна и порока, дано нам не в том четком, гарантийном, систематизированном виде, какого бы мы хотели и ждали. Христос ничего не написал. Мы располагаем лишь пересказами Его слов, чаще всего — ответов, обусловленных вопросами или хотя бы контекстом. Если же мы соберем их, в систему нам их не привести. Христос учил, но лекций не читал. Он прибегал к поговоркам, парадоксам, преувеличениям, притчам, иронии, даже (не считите кощунством) к остротам. Он говорил вещи, которые, если принять их буквально, противоречат друг другу, как пословицы. Тем самым, учение Его не схватишь одним умом, не «усвоишь». Если мы попытаемся, у нас ничего не выйдет, и мы решим, что Христос был на редкость уклончив. Он едва ли давал прямой ответ на прямой вопрос. «Поймать» Его (снова простите за кощунство) не легче, чем загнать в бутылку солнечный луч.

Спускаясь ниже, мы встретим похожую трудность, читая апостола Павла. Наверное, не я один удивлялся, почему Бог, отпустивший ему столько даров, обделил его даром ясности и систематичности, который вроде бы нужен родоначальнику христианских богословов.

Итак, на трех уровнях — в Писании, у Христа, у «апостола языков» — мы не находим того, что считаем лучшим. Если это сделал Бог, значит, Ему виднее. Быть может, нам было бы очень вредно получить то, что мы хотим. Быть может, именно потому, что учение Божие ускользает от нашего систематизирующего разума, мы вынуждены принять его всем нашим существом и понять, что мы не «изучаем предмет», но входим в общение с Личностью, обретаем новое зрение и новое сердце, дышим новым воздухом и вместе с Богом, по-Божьи стараемся восстановить в себе Его искаженный образ. То же самое и с апостолом. Он сбивчив, нам часто кажется, что он не доводит мысль до конца (и даже что он допускает натяжки), он вдается в подробности, он жалуется, он воспаряет духом, и все это вместе являет нам то, что важнее идей, — саму христианскую жизнь. Мы видим, как Христос действует в человеке. Вполне может быть, что ценность Ветхого Завета тоже зиждется на его видимых несовершенствах. Он отказывает нам в одном, чтобы мы обрели другое — прошли вместе с Израилем весь путь постепенных откровений Божьих и ощутили саму борьбу Слова

с материалом, над которым Оно трудится. Ведь и здесь мы должны откликнуться не умом, а всем существом.

Например, мне кажется, что, пробираясь к голосу Божьему через проклятия псалмов, я получил больше, чем получил бы от этических трактатов. Тени сказали мне много про самый свет. Я ни за что не отказался бы теперь от такой антирелигиозной штуки, как нигилизм Екклесиаста. Книга эта холодно и ясно изображает человеческую жизнь без Бога. Такое свидетельство — часть Божьего слова; мы должны его услышать. Если прочитать один Екклесиаст из всей Библии, больше подвинешься к истине, чем многие люди.

По-видимому, домыслы наши о том, почему Бог делает так, а не иначе, стоят не больше, чем домыслы моей собаки, которая смотрит, как я пишу. Причины мы можем только угадывать; но не методы. Пути мы все же видим и вправе заметить их особенности. В Книге Бытия мы читаем, что Бог создал человека из праха и вдохнул в него жизнь. Вполне возможно, что строки эти иллюстрируют устойчивость языческих представлений: люди просто не могли себе представить, как это что-нибудь сотворено; им непременно было нужно, чтобы Бог делал что-то из чего-то, как горшечник или столяр. Однако по счастливой случайности или (мне кажется) по воле Божьей здесь воплощен важнейший принцип. Человек и вправду сделан «из чего-то». Он — животное, призванное — или, если хотите, обреченное — быть больше чем животным. Мысли мои об эволюции не имеют религиозного значения, и здесь я говорю лишь о том, что с биологической точки зрения один из приматов изменился, стал человеком, но остался при этом приматом, животным. Он обрел новый вид жизни, не оставляя старого. Точно так же всякая органическая жизнь использует химические процессы. Принцип можно провести не только ниже, но и выше: не оставляя человеческой жизни, можно войти в жизнь Божию. Так и Писание: оставаясь словесностью, оно становится Словом. Ничего необычного в этом нет.

На каждом уровне, как я говорил, низшее остается, не исчезает под бременем высшего, и потому можно только его и заметить. Можно читать о жизни Христа как о человеческой жизни (ведь это и есть человеческая жизнь). Многие современные философы видят в человеческой жизни исключительно усложненную жизнь животного. Картезианцы видят животное как механизм; так и Писание можно читать, как читают любую книгу. Никакие открытия, никакие методы не докажут и не отвергнут такого подхода. Ведь во всех перечисленных случаях нужно не знание, а проникновение, верный взгляд, надо видеть все в фокусе. Того, кому видно лишь низшее, переубедить нельзя. Если вам кажется, что стихи — это черточки на белой бумаге, ни микроскоп, ни анализ чернил вам не помогут.

2) Вторая причина гораздо проще и, наверное, убедительней. Спаситель Сам открыл нам, что Ветхий Завет полон иносказаний. По пути в Еммаус Он говорил ученикам, что они должны бы знать из Писания, как придет к славе Помазанник Божий, и объяснил им «от Моисея» (то есть с самого начала, от Пятикнижия) все, что сказано о Нем (см. Лк. 24:25-27). Он прямо отождествил Себя с лицом, неоднократно упомянутым в Библии, и отнес к Себе многие тексты, в которых современные ученые такой связи не видят. По всей вероятности, делал Он это и тогда, когда предсказывал Свои Страсти. Он признавал, нет, Он утверждал, что именно о Нем говорится иносказательно в Писании.

Мы не знаем (во всяком случае, я не знаю), какие именно эти места. Одно из них, по крайней мере, мы можем назвать точно. Когда эфиопский евнух встретил Филиппа (Деян. 8:27-38), он читал главу 53 Исаии и не знал, о себе или о ком ином говорит в ней пророк. Филипп в ответ рассказал ему о Христе. Другими словами, он сказал, что Исаия говорит о Нем. Можно не сомневаться, что Филипп знал это точно. (Наши предки думали, что Исаия сознательно предвидел страдания Христа. Наши ученые скажут, что сознательно он имел в виду свой народ. По-моему, разница эта не имеет значения.) Кроме того, из слов на Кресте (Мк. 15:34) можно вывести с уверенностью, что Христос отождествлял Себя со страдальцем из 21 псалма. В сцене, описанной у Марка (12:35-37), Он отождествляет Себя с «Господом моим» из псалма 109, показывая, что лишь тайна Воплощения придает смысл его первому стиху. Слова из 90 псалма об ангелах-хранителях в Евангелии от Матфея (4:6) Он тоже

относит к Себе, и мы вправе не сомневаться, что так оно и было, ибо только Он один мог рассказать ученикам об искушении в пустыне. Относит Он к Себе и текст из 117 псалма (стих 22) о камне, отвергнутом строителями (Мк. 12:10). В Деяниях (2:27) текст «ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс. 15:10) воспринимается как пророчество о Воскресении, и, должно быть, апостолы слышали это от Него. Все же первые христиане были ближе и к букве, и к духу Его слов, чем самые ученые (я не говорю — «самые святые») наши современники. А в сущности, в словах Его и нет никакой «буквы». Читая Евангелия, буквалист не сведет концы с концами и не построит системы. Только сеть широкая, как сердце, и тонкая, как милосердие, удержит Того, Чьим знаком была рыба.

XII. ИНОСКАЗАНИЯ В ПСАЛМАХ

В определенном смысле толкования псалмов объединяли Христа с Его противниками. Например, слова о 109 псалме (см. выше) были бы невозможны, если бы обе стороны не принимали без споров, что под «Господом моим» (Мк. 12:35-37) разумеется Мессия, то есть царь, помазанник Божий, освободитель Израиля. Такой метод принимали тогда все. Все знали, что у Писаний есть второй, духовный смысл. Даже праведные язычники, вроде евнуха-эфиоплянина (Деян. 8:27-38), знали, что священные книги Израиля нельзя понять без толкователя, который способен открыть их сокровенные значения. Наверное, все образованные иудеи I века видели указания на Мессию в тех же фразах, в которых их видел Иисус. Отличие было в ином: Он отождествлял царя-помазанника с другим лицом из Ветхого Завета, а оба эти лица — с Самим Собою.

В псалмах говорится и о торжествующем царе, и о невинном страдальце. В 12, 21, 54, 101 псалмах речь идет о Страдальце; во 2 и 71 — о Царе. Если я не ошибаюсь, Страдальца к тому времени отождествляли со всем народом в его настоящем, как он есть; под Царем же понимали грядущего освободителя из дома Давидова. Христос, повторяю, отождествлял Себя и с тем, и с другим.

Таким образом, «читать между строк» нам позволил и повелел самый высокий авторитет. Но это не освящает всего, что мы там вычитаем. Нередко, глядя в глубину Писания, мы видим только наши глупые лица. И мне, и многим моим современникам кажутся смешными и натянутыми некогда общепринятые толкования. Наверное, очень часто они такими и были, но не нам решать, когда именно. На земле нет беспристрастного судьи, который мог бы рассудить спор столетий. Никто не стоит вне истории, и больше всех поработен ею тот, кому кажется, что наш век — не один из веков, а высокий помост, откуда можно, наконец, объективно рассмотреть все и вся.

Приглядимся к некоторым толкованиям. Псалом 109 принято петь под Рождество. Этому и впрямь можно удивиться: в нем нет ни слова о мире, о благоволении, нет умиления, уюта, убожества Вифлеемских ясель. Вероятно, написан он на коронавание или хотя бы во славу какого-то царя. Он полон угроз, он никак не утешает, а как бы говорит: «Берегись!» Мы вправе связывать его с Христом по двум причинам: во-первых, Он Сам говорил это, ибо Он — Тот, Кого Давид называл «Господом моим», а во-вторых, в нем упоминается Мельхиседек (109:4). Согласно Посланию к Евреям, этот в высшей степени загадочный персонаж — символ Христа, живое пророчество о Нем (Евр. 7). Мы не знаем, как именно толковал апостол на своем языке 14 главу Книги Бытия, но главное, вероятно, сохраняется даже в переводе с перевода. Конечно, отсутствие родословной ни в коей мере не значит, что Мельхиседека просто не было, но оно ставит его как бы в стороне от повествования. Он является неизвестно откуда, благословляет Авраама «от Бога всевышнего, Владыки неба и земли» и куда-то девается. Поневоле ощутишь, что он из другого мира — не загробного, земного, но другого. Для него нет сомнений в том, что он выше Авраама, и тот это принимает. Я не знаю, что сказал бы нам автор или последний из авторов Книги Бытия, если бы мы спросили его, что это значит; но, как я уже говорил, я верю, что на создании этой

книги лежит Божья печать. Один результат рассказа о Мельхиседеке мне ясен: читателю накрепко врежется в память мысль о том, что жреческое служение не языческим богам, а Единому Богу существовало очень давно, до еврейского священства, родоначальником которого был Аарон, до Авраама, независимо от его призвания. Древний, доиудейский жрец — в то же время и царь; Мельхиседек — и священник, и царь. Это бывало, но не в Израиле. В определенном смысле один Мельхиседек из всего Ветхого Завета подобен Христу. Христос, как и он, считает Себя не только царем, но и священником, хотя не происходит из рода священнослужителей. Мельхиседек действительно указывает на Него, как и герой 109 псалма, который тоже и царь, и священник, не происходящий от священников.

Для иудея, обратившегося в христианство, это было исключительно важно. Можно доказать, почему Иисус — сын Давидов; но никаким образом не докажешь, что Он восходит к Аарону. Тем самым, нужно было принять, что есть священство, независимое от колена Ааронова, более того — что священство это выше Аароновой чреды. Мельхиседек освящал это авторитетом Писания. Для нас, христиан из язычников, все наоборот: нам гораздо легче понять и принять священство Христа. Мы почти не ощущаем, что Он — Царь и Победитель, и псалмы помогают нам это ощутить. Откроем 44 псалом и услышим: «Препояшь Себя по бедру мечем Твоим, Сильный, славою Твоею и красотой Твоею. И в сем украшении Твоим поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела. Остры стрелы Твои; народы падут пред Тобою» (4-6). В псалме 88 мы читаем обетования Давиду, то есть всем или многим его потомкам (как «Иаков» обозначает всех потомков Иакова). Господь обещает сокрушить пред ним врагов его, поразить ненавидящих его; Давид будет звать Бога отцом, а Тот сделает его первенцем, который выше царей земли (24-28). В псалме 131 снова идет речь о Давиде: «Врагов его облеку стыдом; а на нем будет сиять венец его» (18). Все это выделяет тот смысл Рождества, о котором мы почти не помним. Прочитайте эти псалмы как песни на Рождество Христово, и вы ощутите, что оно было вызовом, угрозой миру сему. Псалмы возвещают, что пришел наконец долгожданный защитник, который сразится со смертью, дьяволом, злом и победит их. Мы знаем, что и Сам Спаситель воспринимал Свой приход именно так. (Из европейских поэтов эту сторону Рождества хорошо ощутил и описал один Мильтон.)

Связывать с Пятидесятницей 67 псалом можно, хотя стих «земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия» (9) для псалмопевца, конечно, соотносился с чудесами Исхода. Стих 12 прекрасно показывает, как обретают новый смысл ветхозаветные тексты. Обычно мы читаем: «Господь даст слово; провозвестников великое множество», понимая «слово» как «воинский приказ», провозвестников (мрачная ирония) — как воинов. Однако на самом деле все не так. Стих этот значит, что многие могут разнести весть о победе. Вот это вполне подходит для Пятидесятницы. А уж совсем дает нам право так применять псалом стих 19: «Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары человеков, так чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога». Гебраисты утверждают, что в древнееврейском тексте речь идет о «дарах» (добыче, дани) от людей. Однако в Послании к Ефессянам апостол имеет в виду другое прочтение: «Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам» (Еф. 4:8). Вероятно, именно здесь 67 псалом впервые связан с Сошествием Святого Духа — Павел говорит о дарах духовных, подчеркивая, что они даны после Вознесения. Связь Вознесения с Пятидесятницей прекрасно согласуется со словами Спасителя: «...лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам» (Ин. 16:7), словно присутствие Христа в «пространственно-временном мире» мешает явиться Богу Духу Святому. Тут — тайна, и я ее даже не коснусь.

С псалмами, в которых речь идет о Страдальце, все много проще — их трудно читать, не думая о Христе. Если говорить совсем уж по-человечески, понять иносказания здесь можно и без помощи свыше — чудом было бы не понять их. В псалме 21, страшной песне, которую Христос вспомнил на кресте, поразительнее всего не «пронзили руки мои и ноги мои», а сочетание полного отчаяния с полной вверенностью Богу, Который не отвечает, даже «не внемлет» (21:3), и все же «Святой, живет среди славословий Израиля» (21:4). Здесь

говорит страдалец невинный; в псалме 39 — виновный: «постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу» (13). Но и это — голос Христа, ибо мы знаем, что Единый Безгрешный спустился ради нас в глубины страданий, которые испытывает плохой человек, когда узнает, какой он плохой. Заметьте, стих очень трудно согласовать со стихами 8 и 9, если речь не о Христе.

Говорить еще о «псалмах страдания» не стоит, там все очевидно. Вообще же скажем только, что 44 псалом являет нам столько граней Рождества, сколько не явят рождественские песни и, в определенном смысле, Евангелия. Создан он придворным поэтом к свадьбе царя. (Теперь нас удивляет, что такие стихи написаны «по заказу». Но во времена здоровых искусств никто бы не понял, чему мы удивились. Великие поэты, музыканты, художники могли работать так и работали. Того, кто не мог, сочли бы странным, как моряка или крестьянина, которые трудятся лишь по вдохновению.) Псалом прекрасен и как брачная песнь — то, что греки называли эпिताмой, — но он гораздо значительней, когда мы свяжем его с Воплощением.

Раньше меня совершенно не трогали толкования библейских текстов, уподобляющие жениха Христу, невесту — Церкви. Читая явственно эротические стихи из Песни Песней, поневоле улыбнешься и подумаешь, как наивны толкователи. Я и сейчас не верю, что древний автор понимал все это «в духовном смысле». Принимая такое прочтение, мы не можем отвергнуть то, о чем он уж точно думал. Да, это брачная песнь, это — поэма о влюбленных; новое чтение не мешает так видеть (человек — и впрямь один из приматов, стихи — черные черточки на белом листе). Но постепенно я понял, что новый смысл не произволен, он порожден тем, прежним. Во-первых, почти все великие мистики — античные, мусульманские, и особенно христианские — показывают, что образ брака, любовного союза естественно, даже неизбежно выражает связь человека с Богом. Во-вторых, тема «священного брака» постоянно возникает в язычестве — не «самом высоком» или «самом светлом», а «самом истовом», т.е. самом серьезном. Если Христос (а я в это верю) исполнил чаяния не только иудеев, но и эллинов, вполне может быть, что Он исполнил и это. В-третьих, для самого иудаизма Израиль — Невеста Господня. Об этом мы читаем в одной из самых трудных и трогательных глав Ветхого Завета (Иез. 16); в Откровении же Ветхий Израиль передает это Новому, и Невестой становится Церковь. Недостойную невесту отмывают, переодевают, обручают с Богом — просто свадьба короля Кофетуа! Аллегория, которая сперва казалась произвольной, укоренена во всей истории религий; и отвергать ее за то, что она «несовременна», может только слепой, самодовольный провинциал.

Если так прочитать псалмы, Рождество обретает для нас утраченную полноту. С Рождеством Христа в мир пришел великий Царь и великий Воин. Но это не все: пришел и Жених «прекраснее сынов человеческих». Мы не всегда ощущаем, что слово это значит не только «возлюбленный», но и просто «будущий муж» — тот, кто даст тебе детей. Когда псалмопевец говорит: «...забудь народ твой и дом отца твоего» (44:11), слова эти, конечно, имеют прямой и печальный смысл: и нам и ему жалко девушку (вероятно, очень юную), которая плачет в чужом ей доме, предвидя все беды, какие сулит династический, да еще восточный брак. Псалмопевец прекрасно их знает, у него самого, наверное, есть дочь, и он утешает невесту: «Вместо отцов твоих будут сыновья твои». Но это как нельзя лучше подходит и к обручению Церкви со Христом. Высокая честь призвания обходится дорого. Поначалу (а иногда и позже) очень трудно оторваться от «нормальной жизни». Даже переход с одного биологического уровня на другой и то нелегко — человек знает трудности и печали, неведомые другим приматам. Выйти же за пределы «человеческого» особенно трудно. Господь говорит Аврааму: «...пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, (и иди) в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1). Повеление это ужасно — надо уйти от всего, буквально от всего, что ты знаешь. А утешение (утешает ли оно в этот, первый час?) — такое же, как в псалме: «Я произведу от тебя великий народ». В Новом Завете Господь повторяет и усиливает повеление, требуя возненавидеть мать, отца, самую жизнь. Он говорит здесь в Своем, особом духе, как бы в притче, — речь идет не о ненависти, не о злобе, а о

полном отказе от естественных связей, если понадобится такой чудовищный выбор. (Даже и так текст этот — только для тех, кому он страшен! Мужчине, которого воротит от собственного отца, женщине, из всех сил старающейся не возненавидеть мать, лучше не читать его.) Но вернемся к псалму. Утешение невесты — не в объятиях жениха, а в детях. Если она не потечет водою живою, не принесет плода, не станет матерью святым и святости, мы вправе предположить, что брак ей примерещился.

Псалом 8 связывают с Вознесением, и толкование это поддержано авторитетом апостола. В прямом своем смысле псалом предельно прост — автор его, истинный поэт, дивится человеку и месту его во вселенной (у Софокла есть хор примерно о том же). И впрямь, глядя на звездное небо, удивишься, что Бог вообще замечает таких тварей, как мы. Он создал нас ниже сил небесных, но здесь, на земле, облек великой честью: поставил над всем тварным миром. Апостола это наводит на мысль, до которой не додумаешься без благодати. Псалмопевец сказал, что Господь поставил человека «владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его» (8:7); апостол прибавил, что теперь, в нынешнем мире, это еще не совсем верно (Евр. 2:6-9). Нас, людей, убивают, и нам, людям, вредят звери, ядовитые растения, холод, стихийные бедствия — словом, природа. В «научном смысле» автор псалма вроде бы и не прав. Но мало поправить его так, как обычно поправляют: «Это — неверно, Писание — верно, значит, речь просто идет не о настоящем, а о будущем». Лучше скажем: «Это верно и теперь, не только в поэтическом смысле, но и в другом, очень важном». Двинемся же по пути, ведущему к этому смыслу.

Мы знаем, что Христос вознесся на небеса. Знал это и апостол Павел, когда писал, что Христос — «первенец из умерших» и что в Нем «все оживут», а Ему Господь покорил все (1 Кор. 15:20-28). Если мы кроме текста из Послания к Евреям читаем и этот текст, мы убедимся, что в первохристианской церкви было принято толкование, быть может, восходящее к Самому Христу. Как-никак, Он особенно любил, чтобы Его определяли словом пророка «Сын Человеческий», то есть «архетип человека» (ср. «Дочь Вавилона» — «Вавилон»), чье страдание и славу может разделить каждый из людей, если сам не откажется.

Я думаю, об этом нужно напомнить христианам. Мало кто чувствует в наше время, что в вечности пребывает прославленный Человек. Мы видим человека Христа лишь на земле, и то от Рождества до смерти, словно Он побыл человеком и снова стал «только Богом». Воскресение и Вознесение для нас — великие победы Бога, это так; но ведь они — и великие победы Человека. 8 псалом, к нашей радости, напоминает об этом. Страсти и славу Спасителя мы вправе сопоставить с уделом человека: и там и здесь мы видим уничижение — и величие, беззащитное начало — и великую судьбу. Сопоставление это не кажется мне натянутым.

Но я забрел в край чудес, которые выше моего разума. Поговорим лучше под конец о более простых вещах.

Нередко нас поражает, что псалмопевцы искренне не видят в себе греха: «Ты... искусил меня, и ничего не нашел» (16:3); «я ходил в непорочности моей» (25:1). Вряд ли так уж сильно меняет дело то, что иногда подразумевается весь народ или даже его «малый остаток». Конечно, кое-что это меняет: «остаток» был и свят, и праведен по сравнению с окружающими его языческими народами. Он часто страдал без вины — в том смысле, что страдания его были гораздо больше недостатков, а те, кто их причинял, были много хуже. Но предстояло прийти Тому, Кто свят и праведен в полном смысле этих слов. В устах Иисуса этим стихам предстояло стать безоговорочной истиной. Значит, их надо было создать, чтобы люди узнали, что совершенное, всепрощающее, кротчайшее милосердие может вызвать в таком мире, как наш, не любовь, а ненависть, поношение, смерть. Мы, христиане, слышим в этих стихах голос Христа; Он и впрямь говорил, что греха в Нем нет. (Вот немаловажный для нас довод — ведь и врагам христианства Иисус не кажется гордым и самодовольным. Они гораздо меньше, чем от них ждешь, дивятся, что Он «кроток и смирен сердцем»; однако говорил Он такое, что, кроме Бога, скажет только гордец из гордецов, если не параноик.)

Под «проклинающие псалмы» каждый из нас подставляет свое; но не забудем, что

аллегии эти — совсем на другом уровне, чем истинный их, глубинный смысл. Гнев нужно направить на зло, лучше всего — на наше собственное. Читая о «беззаконном» в псалме 35, неплохо вспомнить, что самый известный нам пример — мы сами; и когда псалом взмывает вверх, стих «милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков» особенно поразит и тронет нас. При таком чтении можно даже вынести стих о вавилонских младенцах. Много в нашей душе подобно младенцам — скажем, начатки мелких попущений и мелких досад, которые могут разрастись в пьянство или злобность, а сейчас кажутся такими маленькими и беззащитными, что сопротивляться им как-то даже и жестоко, словно ты обидишь зверька. Они так жалобно хнычут: «Да мне немного надо!» или: «Подумай и о себе!» Вот к ним и подходит как нельзя лучше стих из псалма 136. Поистине блажен, кто разобьет их о Камень, — это легче посоветовать, чем сделать.

Наконец, мне иногда неотступно слышится иносказание, о котором я нигде не читал. Автор 83 псалма говорит: «.. один день во дворах Твоих лучше тысячи» (11), имея в виду именно это: один день у Бога лучше, чем тысяча без Него. Но я всегда думаю здесь о том, о чем, насколько мне известно, ветхозаветные авторы не думали. Мысль эта есть в Новом Завете. В псалме 89 говорится, что пред очами Божиими «тысяча лет, как день вчерашний» (5). Апостол же Петр прибавляет, что «у Господа один день, как тысяча лет» (2 Петр. 3:8). Псалмопевец, по-видимому, просто хотел сказать, что Бог вечен. В Послании Петра мы вообще выходим за пределы времени. Положено начало (в христианской традиции; у Платона это было) представлению о вечности как о вечном настоящем. С такой точки зрения строки 83 псалма обретают дополнительный смысл. Бог может явиться нам в отрезке времени — в дне, минуте, секунде; но коснемся мы того, что со временем несоизмеримо. Мы надеемся выйти если не из времени, то хотя бы из его плена, из его одномерного убожества, и тем исцелить ноющую боль, которую этот плен причиняет нам и в счастье, и в несчастье. Ведь мы так плохо примирились со временем, что постоянно ему удивимся. «Как он вырос! — восклицаем мы. — Как время бежит!», будто такая привычная вещь остается для нас новостью. Это очень странно, словно рыба не может привыкнуть к воде. Не странно это лишь в том случае, если рыбе предназначено выйти на сушу.